

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

ВЫПУСК ТРЕТИЙ

МСМХСПИ

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Выпуск третий

Ассоциация современной литературы
« КАМЕРА ХРАНЕНИЯ »
Санкт-Петербург
1993

Kamera chranenija. Vypusk tretij.
A Literary almanach.

Copyright © Authors. 1992.

Copyright © Compound

Association **Kamera chranenija.** 1992

Dmitrij Zah, Roderbergweg 121, 6000 Frankfurt am
Main 60, BRD.

Россия, 197343, Санкт-Петербург,

ул. Матроса Железняка 33-35, Д.М. Закс

Copyright © Title and idea of cover design.

Oleg Jurjew. 1989.

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, in any form or by any means, without permission.

Some copies of this issue will be distributed as an annual supplement to the S.-Petersburg literary magazine «Sumerki» (Twilight).

Камера хранения. Выпуск третий.

Литературный альманах.

Авторские права © на сочинения, помещенные в альманахе, сохраняются за авторами этих сочинений. Перепечатка какого-либо текста или воспроизведение его любыми другими средствами — только с разрешения автора.

Часть тиража этого выпуска распространяется в качестве приложения к петербургскому литературному журналу «Сумерки».

© Составление.

Ассоциация современной литературы «Камера хранения». 1992.

Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка 33-35.
Д. М. Закс.

Dmitrij Zah, Roderbergweg 121, 6000 Frankfurt am Main 60, BRD.

© Название и идея оформления. О. А. Юрьев. 1989.

*Составитель и редактор выпуска: Д. М. Закс
Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне*

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

СТИХИ И ПРОЗА

Стихи Сергея Вольфа 8

Стихи Ольги Мартыновой 19

Восьмистишия Натальи Горбаневской 25

Бездожде до сентября, проза Владимира Губина 28

Стихи Валерия Шубинского 59

Стихи Дмитрия Закса 68

Два стихотворения и перевод Алексея Цветкова 74

Прогулки при полной луне, проза Олега Юрьева 79

Три стихотворения Александра Образцова 129

Стихи Евгения Мякишева 131

Рождественские кровотоки, поэма Елены Шварц 137

ПЕРЕВОДЫ

Поэзия немецкого экспрессионизма. 145

Стихи Георга Тракля, Георга Гейма, Макса
Германа-Нейссе, Вильгельма Клемма,
Альфреда Лихтенштейна в переводах И. Большичева,
А. Прокопьева, А. Попова, Б. Скуратова.

XXX ЛЕТ

Стихи Олега Григорьева (*публикация Б. Понизовского*). . 157

ОЧЕРКИ ЗАТОНУВШЕГО МИРА

Язык, проза Бориса Хазанова. 178

Худо тут, проза Асара Эппеля. 187

ОТ РЕДАКЦИИ

За исторически ничтожное время, прошедшее с выхода второй книжки нашего альманаха до появления лежащей перед вами третьей, в России произошли изменения такого качества и свойства, что вся предыдущая жизнь превратилась, на наш взгляд, в нечто совершенно законченное, стремительно отдалившееся во времени (пространство само настолько изменило свои параметры, что судить, кто от кого отдалился, еще не представляется возможным). Тут, пожалуй, уместна цитата (из набоковского «Подвига»): «Он <профессор-славист Арчибалд Мун> усматривал в октябрьском перевороте некий отчетливый конец. Охотно допуская, что со временем образуется в Советском Союзе, пройдя через первобытные фазы, известная культура, он вместе с тем утверждал, что Россия завершена и неповторима, — что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло». Теперь и советская цивилизация стала понятием сугубо археологическим и археографическим, как Римская империя, даром, что все мы еще несколько лет назад считали ее будничной и малопривлекательной современностью; — существовало, видимо, и поколение римлян, заснувших в одном мире, а проснувшихся в совершенно другом. Древние римляне-то, вероятно, так никогда этого и не заметили, но мы, живущие в сумасшедше ускоренном и ускоряющемся историческом времени, имеем возможность воспользоваться единственным, быть может, преимуществом этого обстоятельства: мы имеем возможность осознания того, что с нами случается. Мы говорим вовсе не о ресентименте — мы говорим о появлении эстетического объекта. Мы все — кто бы где и с каких пор ни жил — потеряли родину, но получили материал.

Когда заканчивается цивилизация, умирает ее речь. То есть, она возвращается в язык и снова становится эстетическим объектом. Другими словами: исчезают социологические приложения языка — конечно, чтобы заместиться другими. Известное различие между «поэтом» и «гражданином» — есть, в сущности, различие чисто линг-

вистическое — по области лингвистической деятельности. Как ни странно, в нынешних обстоятельствах «гражданами» оказываются как простодушные рифмователи чувств и мыслей, так и умудренные авангардисты, расчетливо жонглирующие блоками советской речи (и любой речи). Чтобы было нагляднее, обратим ваше внимание на «дьявольскую разницу» между стихами покойного Олега Григорьева и текстами кого-нибудь — по вашему выбору кого — из московских постконцептуалистов. Поэт, живущий в языке, оказывается независим от изменения исторических обстоятельств, его актуальность видоизменяется, но не исчезает. За него стоит биологическая радость языка. У копающегося в сложной машине речи есть только язвительное удовольствие показать себе и публике абсурдное совершенство ее тайных поршней, приводов, контактов и проч., а если машина сломалась, он остается перед грудой деталей, ожидая, пока их не соберут в какое-нибудь новое устройство и делая вид, что все в порядке, в крайнем случае он сам сможет свинтить что-нибудь.

Происшедшее обратным светом высвечивает и многое из написанного ранее — оно, в отрыве от политических приложений, оказывается отрывочными страницами из некоего «Путеводителя по Атлантиде», из неких «Очерков затопленного мира», как мы и позволили себе назвать последний раздел нашего альманаха. Спору нет, этот мир был не слишком хорош — но он был, и он закончился, и мы с чистой совестью обнаруживаем в нем красоту. Смеем заметить, тот же Рим был государством и обществом едва ли не худшим (с современной точки зрения, понятно), чем наша Великая шестеренка — едва ли не более тупым, потным, садистическим, а на последней части своего пути (вероятно, общее свойство тотальных обществ) лицемерным и ханжеским. Но «под стеклом» — вне политики, или в свете другой политики — он оказался совсем неплох как материал, не правда ли?

Еще два замечания, чисто технологических.

Мы поменяли авторов прозаического раздела не потому, что они все нам разонравились (отнюдь нет!), а по соображениям чисто составительским, применительным к данному конкретному выпуску. Единственное исключение — Асар Эппель, чье сочинение мы позволили себе подтолкнуть в сторону своего рода «физиологического очерка» —

не текстуальными, упаси Бог, изменениями, а помещением в контекст соответствующего раздела.

И последнее. Мы можем и должны снова повторить дословно то, что значилось в нашем предыдущем «эдиториале»: «Марка «Камеры хранения» вовсе не означает в данном случае какой-то особой эстетической или какой бы то ни было близости участников книги. Каждый из них отвечает только за себя и представляет только себя ... Мы попытались собрать книжку в согласии с нашим вкусом и представлениями «об изящном» и нисколько не претендуем, естественно, на абсолютность этого вкуса и этих представлений. «Мы» <это касается и «условного мы» предшествующего изложения> относится только к тем, кто непосредственно занимался этой книгой и не распространяется ни на кого другого <...>». Вот, пожалуй, и все, что было нужно сказать деловой прозой. Изящная словесность — начинается на следующей странице.

ноябрь 1992, С.-Петербург — Франкфурт-на-Майне

* * *

Как слюда за волною,
Как за пробкой мышьяк,
Кто-то стынет за мною,
Жизнь влача на паях.
Не напарник, не призрак,
Не сдвоение «я»,
В недостроенных избах
Он ютится как я,
Но не дышит в затылок
И не дует в очки,
Повисит на стропилах,
Расширяя зрачки,
И исчезнет, изыдет,
Взроет ямку в песке,
Глаз ослепший увидит
Кровь мою на виске,
А песок шелохнется
И затихнет, замрет,
Кто-то в избах проснется,—
Вздых замрет и умрет.
И опять станет тихо,
Снова стынет спина,
Спазм внезапного крика
Подпирает стена.
В хилой комнатке тесной
Над песчаной пургой
Спит журавль небесный
И качает ногой.

Полезно опусканье глаз
На прелый лист,
Стократно опусканье век
На краткий миг,
И, просекаемый сейчас,
Терновник мглист,
И еле слышим мягкий смех,
Чуть видим лик.
Казалось — руку протяни
И ощутишь,
Как приближается тропой
Твоя волна,
И если в видимой тени
Разъединишь
Луч между веткой и травой, —
Войдешь сполна...
Излишен знак: не улетай,
Останься здесь,
Пускай во мгле и черноте,
Но рядом будь,
На крики уходящих стай
Запрет повесь, —
Предел положенной черте,
Означен путь.
Мы шли, на цыпочках скользя, —
Ключ и замок,
К соединенью — как магнит
И как игла,
И знать смещения нельзя,
Но видит Бог,
Как разрешение манит
Нас в тень угла.

Благословен пусть будет Роско Митчел
И Лестер Боуи на дуде дудящий,
Трамвай, стоящий к «Бакалее» боком,
Твой лепесток на дереве высоком,
Шмель-передатчик, с высоты гудящий
Гудком, меняющим порядок чисел.

Откроется ль когда благая дверца,
Ну а за ней — фонтан на две персоны,
Плетеный стульчик, равный ягодичкам?
Чтоб ты сидела, скармливая птичкам
Печенинку, котлетку, патиссоны,
Свистя мотив, оторванный от сердца,

Отторгнутый от сердца с упоеньем
В надежде получить ответ от пташки,
От робкой твари, вывернутой стужей,
От спрута, вдруг расплывшегося лужей,
От выцветшей скореженной ромашки,
Рожденной для венца небесным пенъем.

Но сядем на трамвай от «Бакалеи»,
Пересечем Неву и вмиг соскочим,
По мостику пройдем над речкой узкой,
В цветастых пятнах окантовки русской,
Раз нет зеркал — над нефтью рожки скорч
Уйдем — и пропадем в конце аллеи.

Неглубока вода под досочкой косою,
По щиколотку, нет, слегка пониже,
На миллиметр-два надставлена росой
И пленкою дождя с обвисшей крыши.

Как холодно стоять, разглядывая свод
Небесный — полукруглый или плоский,
А топкая река непроходима вброд,
Ступни светло. Чуть ноя, гнутся доски.

Святейший подарил продуманный предел
Для однозначной, беспредельной грусти.
Как кондор пролетел, как волос поредел,
Как сплюснен мальчик, найденный в капусте.

Как горяча вода и как нежна доска,
Как опустился свод, тугой и ровный,
Как падает в глаза звезда издалека —
Пейзаж ее все внятней и подробней.

Меж сводом и доской — какая теснота,
Заполненная твердью водяною!
И выжгла весь обзор нависшая звезда,
Парящая в секунде надо мною.

Как жарко, как темно, как воздух загустел,
Ни права нет, ни лева, верха, низа,
Лишь глаз успел схватить, как ангел пролетел,
Сорвавшись с обгоревшего карниза.

Прогулкой этой к двум мосткам
Я куплен зря,
Подобной схожестью листкам
Календаря.
Шаг — отличает шаг другой,
Но все же схож,
И что там стынет под рукой —
Не разберешь.
На тыщу верст плашмя поля,
Или луга,
Но так ли, этак ли — Земля
Не велика.
Ночная птица промолчит,
На кой ей крик?
И блюдце, круглое, как щит,
Блеснет на миг.
Скользить по выжженной траве —
Какой резон?
Туман крадется к голове,
Макая в сон.
Сон и туман — споят, собьют,
Сойдешь с кольца,
А за спиною запоют
Нежней птенца
И попытаются сломать
Твой мозжечок,
Кружить, царапать, целовать
Под язычок.
Здесь, на отлете, в темноте
Все под хмельком,

Не зря невидимые те
Снуют кругом,
Парят на маленьком коне,
Как на прорыв,
И каждый смотрит в спину мне,
Глаза закрыв.

* * *

То ливень, то оползень, смерч,
Напалм аравийской пустыни, —
Спрямяют понятие «смерть»
Во веки веков — и поныне.
Набат переулков прямых
И колокол Невского зуда, —
Всяк здешний к ним напрочь привык
Как к суетам пришлого люда.

Дворец, и трамвай, и бульвар,
И джинсы с резвящейся попкой,
Семян горьковатый отвар,
Рецептность отвара под кнопкой.

С рождения вмиг повелось
Царапкой ли, рваною раной,
Приелось, пришлось, прижилось,
Но не обратилось нирваной.

Здесь ходишь, трендишь в конуре,
Здесь пьешь подслащенное блюдо,
Здесь можешь уснуть в январе
И не возвратиться оттуда.

* * *

Невиденный проспект слегка коснулся
И оттолкнулся ото лба назад,
И, восприимчивый, как пруд, качнулся
Невиденный и почерневший сад.
И две фигуры — цербер и гетера
Хотя б на всплеск — не совокуплены,
Не плоти напряженье, но химера,
Но сопряженье выгнутой луны
С упавшими внезапно облаками
И с куполом в надземной вышине,
Где тень, темна, лежит под потолками
За шторами — сокрытая луне.
И город этот будто бы припаян,
Прикован как кольцо во пасти льва,
И всадник на кобыле — неприкаян:
За крупом — тьма, а впереди — Нева.

...Но это только видимость, лишь шутка,
А проще — засветить зрачок в окно.
Плывет Москвою Осипова утка,
Это сейчас,
А было — так давно.

* * *

Иногда закрывала ты дверь с ужасающим скрипом,
Оставляя меня то с одной, то с другой стороны,
И любая из них моим наполнялася всхлипом
Еле слышимым, или смешком тишины.

И в любой из сторон я ютился, едва замечаем,
Был мельканием глазу, или мельканьем душе,
Я сторал как ворсинка, но твой угол был неосвещаем,
Я как мышшь обмирал на двухсотом чужом этаже.

Тень бродила прихожей, я видел ее через доски,
Или рядом стоял, — тень бродила, вздыхая, одна,
Ты одна и была в той прихожей, в расплавленном
воске,
Словно водоросль колыхаема ветром со дна.

Плыло облако с Мойки, ломилось в протертые двери,
Уминалось, сползало, плесневело, текло по стене,
И катился комочек слезы отраженьем потери,
Не даримой вчера, но внезапно подаренной мне.

Улетел мой журавль. Твоего никогда я не видел.
Опадал лепесток сквозь листок и сквозь снег во дворе,
И зеркальный обман был и в луже и в воздухе светел,
Относя меня вдаль, за незнанье тебя в сентябре.

* * *

Четырнадцать деревьев насчитав,
Я оказался на поляне, или
В каркасе жестком венценосной пыли,
Или в пыли, как требует устав.
Я различал белесые стволы
И маленькие зеркальца меж ними,
Верхи стволов казались голубыми
И срезанными бритвою скалы.
Я сделал шаг, потом прибавил два,
Ты закричала — я ответил свистом,
Ты засмеялась, и в потоке мгlistом

Только тогда я различил слова.
Одно касалось видимой тропы,
Другое резко скомкалось и пало,
Я отступил — и зеркальце пропало,
Как крестик из указанной графы.

* * *

Там, где квелые совы
И спрямленные тени актиний
Обозначили угол,
Где нелепо и страшно сидеть,
Где совсем невозможно,
Хотя и возможно — глядеть,
Как сливаются в угол прямые.
Я заметил впервые
Эти волосы,
Волос, похожий на медь,
Скользкий полоз,
Способный в движении петь,
Расплавляя тупой
И искрящийся иней.

* * *

Наступает весна, наступает жара, наступает
На меня, чуть звеня, вороненая сталь каблука,
Кто-то дочкою бредит, кто-то катит в себе, кто —
купает,
А купель — не корыто, не пруд, — ледяная река.
Что-то схожее снится с переменной лица на другое.
Я в воде ледяной. Так уютно, так скованно, так

Ольга Мартынова

С Т И Х И

* * *

Среди этого черного света
В глубине бесконечного сада:
Нераскрытая роза рассвета
И закрытая роза заката.

Что знает речка о русле?
Паук о своей паутине?
И что знает холст о картине?
И кто знает, знает ли кто, кому это нужно,
Чтобы всюду была эта пропасть,
В которой все бесконечно страшно и нежно?
И что знает о шелке изнанка шелка?
Везде — непрозрачная скрытая полость,
А в ней все полно пения, посвиста, стопа, шелка!

* * *

И звуки, и краски, и запахи, и очертанья
Домов и деревьев — только мешают всмотреться
в пустоту И вслушаться в воркотанье
времени, Продолжающего об нас тереться.
Времени дверцы от чьих-то рук жеста
вдруг растворяются, потайные,
От неловких каких-то движений,
И мы остаемся без места
Среди бесчисленных отражений

времени. И мы думаем: означает ли это
Наше бессмертие, или наше отсутствие,
и вообще, кто кому снится?

Но, как и должно, бессмысленна эта зарница
времени. Дверца захлопнется, жизнь начнет
шуршать и смеяться

Смехом, в котором грудная прелесть рыданья.
И бесполезно всматриваться и озираться —
Лишь звуки, лишь краски, лишь запахи,
лишь очертанья домов и деревьев.

КОНСПЕКТ ПСАЛМА 89

До этих гор, до их равнин, до этой крошечной
вселенной, Господь наш бог, Господь един, и после
Них — лишь Ты нетленный.

Ты возвращаешь снова в прах всех тех, кого воззвал
из праха, и вечность у Тебя в руках, как день у нас, в
долине страха.

Ты их уносишь, как поток, как быстрый сон их
появление, как чуть раскрывшийся цветок, уже точащий
Запах тленья.

Их скуден хлеб, их труден путь, они бездарны и
трусливы, но дай им спелый свет вдохнуть, взрастить
зерно небесной нивы.

Дай примешать небесный сок к их слишком
непрозрачным винам. Тяжел их труд, и краток срок...

Так помоги нам, помоги нам!

К ЗИМЕ

Когда зима, и мятной крошкой
Осыпан теплый шар садов,
Жар детства, мягкая простуда
Вдруг напевают ниоткуда
И жадный времени сквозняк
Метет-метет своей дорожкой, —
Стой-стой! ...и детская любовь
Дрожит, как поздний дрозд на ветке
Стой, бесконечная зима!
Как попугай в зеленой клетке
Ты все твердишь, о чем сама
Не знаешь... Стой, смотри, вот этот
Жлоб, окликающий тебя,
Глядит козлиными глазами
В свой детский тающий туман,
Он останавливается с нами,
Гнилые зубы теребя...
Спроси его, и он ответит,
Что жизнь — чудовищный обман.
И все. Уже через минуту
Он позабудет разговор,
И драгоценный детский сор,
И бесконечную простуду.
И плюнет. И пойдет туда,
Где баба, шнапс, кровать, еда.
Ах, если б это было тайной,
Ах, если б в этом сквозняке
Нам открывался дар случайный,
Зажатый в грозном кулаке,
Ах, если б тайною казалась
Твоя случайная игра,
Тогда б другое вырывалось
Из-под холодного пера.

1

Когда в саду он трогал каждый стебель,
Он говорил: Будь Роза! будь Полынь!
Когда в сухом шуршании шмеля
Он узнавал шуршание песка,
Он говорил: какая-то тоска
И счастье от того, что так похоже
Все. Даже эта бурая земля
Под нами, как разломленный гранат.
Когда он слышал гром, вдруг сзябнувшая кожа
Припоминала гладкий виноград.
А тающей луны летучий кислый сок
Стоит на небесах, как чей-то страшный рог.
И даже рыбы в маленьком пруду
Напоминают яблоки в саду...
— Чем? Он сказал: пронзительной удачей
Жить, называя необъятный сад.
Твои глаза похожи на газелей...
— Чем? Он сказал: соски как виноград.

2

В разломах, в прорехах я вижу то,
что не видит больше никто.
Я шел вдоль всех четырех рек
И я точно знал, что не я их нарек.
Я вечно в небе вижу огни
И я думал раньше, что мне сродни
Солнце, луна, звезды и свет.
Но я точно знаю, что я другой,

Я знаю точно, что во мне не огонь,
Не воздух, не прах, не вода.
Когда мне жук щекотал ладонь,
Я вдруг подумал, что я Его сон,
И рыбы, и звери, и суша, и твердь;
И я понял, что здесь никто никому
Не нужен, если не нужен Ему,
Что Его пробуждение — наша смерть.
И когда я спал, Он пришел ко мне
И сказал: вот видишь — и я в твоём сне,
И твоё пробуждение — что?
И теперь на меня, на льва, на тельца,
На змею, на тебя — свет Его Лица
Будет падать вечно. И то,
Что я вижу в разломах мира Его,
Как назвать это, если там — ничего?

3

Если сникший цветок
И высохшая пчела —
Тоже, как все здесь, знак,
То знак этот — ночь, зола.
Не верю я, что на сад
Чья-то светлая тень легла,
Здесь, куда не нацелишь взгляд,
Губы шепчут: я здесь была,
Ни тайны, ни страха нет,
А поющая эта игла,
Точащая нервный свет,
Не навечно меня прожгла.
Когда пролетает змей,
На дереве пахнет смола,
Ты говоришь: не смей!

Я чувствую, как мала
Удача не знать ни о чем...
Не я этот свет зажгла,
Не я задвину плечом
Его за все зеркала,
В которые смотришь ты,
Не я сотру со стекла
Тускнеющие черты,
Но стерла бы, если б смогла.

4

Я хочу домой, где-то есть тот сад,
Где совы в обнимку с мышами спят,
Где змей, пролетая над птичьим гнезлом,
Поет колыбельную — там мой дом.
Где-то пруд, в котором отражена
Что-то вечно шепчущая жена,
Где-то есть огонь, холоднее льда,
И я вечно буду хотеть туда,
Где я видел тот непаливающий свет,
Где я точно знал, что ответа нет
На шепот, на жажду узнать о том,
Что забылось, как все забылось потом.

Наталья Горбаневская

ВОСЬМИСТИШИЯ

1

На Оршу, на Ржев, на Моршанск,
на лысые лбы и пригорки,
пропащий нашаривать шанс
в просыпанной пачке махорки,
пропавший нащупывать пульс
в изгибе дрожащего рельса,
в проталинах таенный путь
среди негорелого леса.

2

Вот она, долгожданная
фанфара во мгле.
Жизнь моя голоштанная
с фонарем на скуле.

Жизнь моя беспечальная,
фонарик да нож.
Долго жданный и чайанный
последний дебош.

3

Исчерпаны не сны одни,
а даже толкованья,
и пню глухому не сродни
глухое токованье,

и дню слепому не своя,
хрипя и прикипая,
выплескиваясь за края,
судьба моя слепая.

4

Репьи и перья, перья и репьи,
и пение мотора по ухабам,
по-над ухабами, не трогая земли,
так муравьи поют по-над травую,

так, муравьиною опившись кислотою,
мы за собой следов не замели,
так ластятся к лугам благоуханным
туманы, тучки, росы и ручьи.

5

Не миру, не городу —
не городу, а
сбравшейся по воду
дужке ведра,

сосущему холоду
из недр бытия,
молчащему ворону
— все та же я.

6

Нещечко мое, собирай вещички,
пора отправляться в дальние края,
загорелось море от малой синички,
замыкалось горе с повечерия.

Загудит гудок, занемяют губы,
закликает, завоюет плачя колес,
и любовь, и жизнь — все идет на убыль,
катится тенью вагонов под откос.

7

Проходным двором человечества,
достославным под именем светоча,
прохожу в приближении вечера,
зажигаю свечи, отраженные в речке.

Не столицей... Нет, столицей,
огнеглазой, тысячелицей,
под беременной бомбами райскою птицей
мы проходим, храбрые человечки.

БЕЗДОЖДЬЕ ДО СЕНТЯБРЯ

— Вы тоже в каком-то году родились, если не ошибаюсь?

— Ага, помаленьку тоже родился.

— Вас удостили чести родиться за что?

— Как это, чести за что? Это случай.

— Нет — именно вам и доверили здравствовать!..

— Я не знаю, за что. Природа в своей интриге ни перед кем не отчитывается.

— Но ваше присутствие на земле предусмотрено всескими соображениями.

— Разве?

— Несомненно.

— Мол?

— Мол, человечеству на свете, вы прибавите ценности миру. Вот страсти-то, да?

1

Граждане с женами, либо гражданки с мужьями! Крестьяне, крестьянки, пилоты, связисты, синологи, сварщики, стропали, медики, медники, товароведы, пожарники, пекари, мостостроители, книжники, физики, гипнотизеры, жокеи, конторщики, кладоискатели, часовщики, звездочеты, зоологи, корреспонденты, глазастые, подслеповатые, черноволосые, рыжие, лысые,

широкогрудые, тощие, добрые, злые! Все вы, кому не хватило не только посадочных мест, но и мест преткновения!

Виктор Антонович Панский последний раз в жизни ведет за собой человечество, и остаются какие-то малые метры пути.

Давеча он просыпался на службу, как в озеро. Нежась в уютной домашней постели, Виктор Антонович перед прыжком в это холодное мутное озеро думал о собственной роли в истории. Так, не спеша, на спине, каждое новое утро Виктор Антонович Панский, фанатик, о чем бы ни думал, он думал о собственной роли. Но вдруг началась катавасия. Сносный порядок текущих событий сегодня был прерван помехами свыше. В небе прошли высоко от окна самолеты — летучие волки разбоя прошли беспрепятственно курсом к базару по синеве, затем по земле прошла дрожь. Около Панского прыгнула в сторону чья-то, — скорее всего подставная, — горбатая тень, уронив ему в изголовье затасканный сверток бумаги, в котором стучал часовой механизм, настроенный на покушение. Панский погиб в понедельник. Акцию, как его сплющили всмятку, Виктор Антонович принял без крика и критики.

Вот его крашенный в алое гроб во главе миллионной толпы впечатляюще плавно крадется к дальнему кладбищу.

Люди выносят на улицу нужные скорбные флаги.

Будут играть духовые оркестры на средства различных месткомов.

И на траурном митинге Виктор Антонович скажет друзьям о себе что-нибудь исторически важное.

Дескать, убили — а мог бы еще поработать.

Но тут мы для точности сделаем якобы сноску. Виктор Антонович, амбициозный мужчина, заведовал ямой на пункте ремонта подержанных автомобилей, поэтому

собственной роли в истории Панскому не дали, не дали даже какой-либо крохотной рольки на время, то есть ему дали вшивую роль, и была она без персонального признака в общих массовках истории, малопочтенная гражданам и незаметная для предстоящих потомков, условная, как не была. Между тем, Виктор Антонович Панский видел свое несомненное сходство с героями. Во-первых, они, как и Виктор Антонович Панский, пели, хворали, носили немодные брюки. Во-вторых, он у каждого, кто становился героем, явственно видел и чувствовал отдельные штрихи своей биографии, пусть ненадежные штрихи, не тютелька в тютельку, часто сокрытые для постороннего глаза, но все равно не чужие, знакомые, слишком знакомые, чтобы от них отвернуться, не понимая родственных уз. Однако, героям истории круто везло, когда Панскому в самых ответственных точках его биографии не доставало чуть-чуть трагедийной концовки. Счастливики века, избранники века, то помирали под пытками в тюрьмах царей, то горели в огне, как сухие дрова, пока Виктор Антонович, как неудачник, ел после бани блины со сметаной. Век был к нему равнодушен и постоянно чего-нибудь ушлое праздновал и дребезжа суетловил. Век обленился, поэтому Панский, в отсутствие дела, впадал ежедневно в мечту, доводил еще наг и спросонок, ее до сомнительной крайности. Жесткий теперешний век, именуемый веком обмана, распространял о себе круговую поруку бессмыслицы. Соревнование воль и умов, где у каждого Панского, — чем бы ты здесь ни заведовал, ямой ли, кучей ли, библиотекой, здоровьем или заводом, — имеются будто бы равные шансы достигнуть успеха в истории, Виктор Антонович Панский, конкретный, проигрывал многие лета подряд исключительно тоже поэтому.

Вдобавок обычные мелкие происки зла постоянно вредили на каждом углу.

Начнем их обзор изнутри — начнем его с утрамбованной коммуналки. Там, окромя невезучего Панского, жили вплотную бок о бок обрыдло соседи в количестве равном обозу, точно такие же мытари келий, нескладные, пьющие, скушные. Сегодня с утра к нему в узкую комнату грянул из этого роя нескладных один испешренный пучками наколок ошеренный, скрюченный, как иероглиф, а спереди замаскирована бомба. Сейчас эта штука шарахнет, обрадовался бомбе Виктор Антонович, ожидая, конечно, диверсию. Панский минуту-другую возвышенно, взвешенно мнил себя жертвой заговора, покуда не понял ошибку. В свертке, доставленном иезуистски нарочным из общего коридора тебе на погибель, упрятаны, замаскированы были часы на ремонт, а не бомба. Хотите — встаньте послушайте, как они тикали-такали, хрюкали. Часы, хрюкая, производили на слух имитацию битой посуды, которую гонят метлой по паркету. Виктор Антонович, обвиняя соседа в подлоге, двинул на этого наглого беса всю накопившуюся против него публицистику. Сосед обескураженно пялил пустые зрачки без понятия. Хулу коммунальной квартире, где смрад испарения шей да постелей с утра вредит организму, сосед одобрял и поддерживал, а насчет адской машины зато проявил тугосердие. Соседа смущало, кому здесь она будет кстати. Виктор Антонович обессилел, пригубил окурок и стал вспоминать, отдыхая, какое сегодня число, — не пора ли пойти заседателем в суд? Эту нагрузку, — судить и рядить, — ему спешно вменили в обязанность еще полгода назад его сотоварищи по коллективу, но руководство районной юстиции не торопилось использовать уникальную светлую голову новичка на поприще права. Руководство составило график процессов, не зная толком алфавита. Панский попал в документ на последнюю нижнюю строчку. Сегодня четвертое августа. Значит уже приглашали к серьезному действию.

Сосед подтвердил эти домыслы специальной повесткой, добытой в почтовом ящике накануне. Виктор Антонович искал для сравнения свежий пример из истории, да ни фига не нашел. Утро как утро. Хотя, если вдуматься медленно, кое-что было знакомо. Память автоматически воспроизводит известные сборы Нехлюдова перед судом над Катюшей Масловой. В окна сверкает огромное русское солнце, сбоку от этого солнца текут облака по небу. В комнате Панского по-холостяцки не прибрано. Филька, его камердинер, — искоса Панский взглянул на соседа, который стал Филькой, — подаст сейчас кофе. Но, правда, Катюши у Панского не было, могут заставить судить идиотов и расхитителей репы с овощебазы, но композиция дня, при наличии факта суда, находилась организовано в определенной системе порядка.

Но порядок опять у него нарушали.

Порядок нарушил своими часами сосед.

Панский давно посулил ему починить их бесплатно, когда понадобится.

Сосед был не глуп, основы простейшей механики сам не постиг не по этой банальной причине. Свободное время сосед одержимо расходовал на воспитание пса. Чумазый стеснительный пес у соседа — слюнявая такса по кличке Везувий. Бедняга страдал заиканием и редко лаял, а когда лаял, это брало за живое. Добрые люди, другие соседи, невольно спешили помочь псу-заике под сказками. Панский, бывало, разбуженный драками шавок-дворняжек у чрева помойки напротив окна, в этой связи по ночам иногда сомневался, что лай со двора настоящий собачий, что добрые поднаторевшие люди к этому лаю там уже непричастны.

Виктор Антонович отверткой снял уважительно соседа на колени заднюю крышку часов, и здесь обнаружилась уйма загадок. Эти часы — наверняка дорогая реликвия древности. Кто-то, небось головастый, прак-

тичный, сработал их впрок из обрезков орудий до первого русского вече в обмен, если что, на невесту. Пружинки, зацепы, колесики, буксы внутри деревянного корпуса размещены были дерзко не в той тесноте компановки, которой сегодня гордятся напрасно конструкторы наших приборов на уровне лучших стандартов, а располагались излишне свободно да так остроумно, что, кажется, тут не хватало не менее сотни деталей. Салют нашим предкам! Они позволяли себе дорогие чудачества. Предки не ведали гнета забот экономить обжитые крохи пространства по-нашему. В косьбе натошак они разовым взмахом острой косы подсекали под корень охапку растений на площади десять квадратных шагов. Их избы стояли на самых удобных участках отечества краше, чем избы теперешних бонз, а трава на лугах изобилия предков и вовсе росла выше конской дуги.

Панский помастил оси часов, оставалось еще завинтить играючи на законное прежнее место болтик у колокольчика. Виктор Антонович ползал теперь на полу. Рядышком на четвереньках толкался локтями сосед. Оба, сосед и Виктор Антонович, искали потерянный болтик, а находили куски штукатурки. Вызвали срочно Везувию. Щурясь от яркого солнца, вежливый пес подал Панскому лапу. Сосед, угрожая милицией, раскипятился, плевал на ковер и колючими глазками, неблагодарный паршивец, обыскивал Панского с ног до бровей. Действительно, болтик торчал из ноздри заседателя. Все прояснилось, но следует упомянуть обстоятельства, которые все прояснят еще больше.

Панский левша.

Лет восемнадцать назад ему хирургической пилкой в больнице белый медбог, словно белый медведь, ампутировал правую руку после автомобильной аварии.

Панский — левша поневоле, когда разбирался с часами соседа, спешил на судейство.

Нечаянно Панский засунул указанный болт на хранение в нос и забыл о значке.

Не думайте, что человеку с одной рукой плохо на свете жилось.

Однорукость его как-никак отразилась во многих моряцких легендах. Известно ли вам, кто под именем лорда Нельсона командовал мощной британской эскадрой? Вам неизвестно. Ветер опасно раскачивал море, выламывал мачты судов и ревел.

Над обнаженной седой головой адмирала в бою пролетали снаряды и плакали чайки.

Лорд тронул себя хладнокровно за кончик несчастного болтика в левой ноздре, приказал обойти неприятеля с тыла, французы бежали на берег.

2

Теперешний суд обосновался в особняке на границе поселка с овсяными нивами региона.

Виктор Антонович уныло двигал отсюда туда ногами через крошку камней и грязи по бывшей Кирпичной улице, которая ныне в награду к международному женскому дню получила по прихоти власти высокое звание Ново-Ракетной, тогда как опять же Кирпичной в поселке называли за бедность порталов другую небезымянную улицу, которую тетки на лавочках около низеньких изб еще помнят Кривой по ту сторону моста.

Помнят Кирпичной — Кирпичную, а не Кирпичную.

Сосед издевательски сопровождал заседателя в суд и заглядывал в душу по самые кишки.

Выдернуть из носа болтик ему помешала широкая плоская шляпка, вот он и поклялся преследовать Панского вечно, пока не воротит обратно добро.

Болтик — не бантик.

Естественно, в зале суда немедля возникнет ажиотаж:

— Где заседатель?

— Вон, а что надо?

— Строг?

— Обратите внимание, какого ему сизаря напаяли сморкаться как заседателю!..

— Гм... Ого!..

— По заслугам.

— От женщин?

— От женщин. Есть версия — нос отпадет подчистую.

Мысленно Виктор Антонович упрасивал Господа перенести предстоящий судебный процесс в помещение комнаты смеха.

Господи, в комнате смеха, молил он, убогая физиономия примет авось изначальную форму, когда исказится в кривых зеркалах.

Однако просимое не приходило.

Мысленно Панский рыдал от обиды. Жадные шустрые люди, кого предстояло судить и кому предстояло судиться, любили свою норовистую дурь, эти люди нарочно жирели, направив излишек энергии на воровство, на скандалы, на танцы, на крики, на подкупы, на кутежи, на поджоги, как средство достичь удовольствия, чтобы потом уже кто-то праведный, превозмогая тоску, приговаривал в зале суда воротиться к ним их заплутавшую совесть. Эти звезды преступности рано вставали, чтобы повсюду поспеть отличиться какой-либо пакостью, подлостью. Звезды, как крысы, — все, что ни попадая грызли, звезды надеялись — худенький Виктор Антонович изящно потом их рассудит, звездам и горюшка мало, что Панский насилу живет, им подавай заседателя вовремя. Что заседателя? Как привилегия крупному

грешнику нужен отпетый палач, а то ради пустяшной разборки нет смысла браться за преступление.

В этих условиях Виктор Антонович отважился перехитрить обстановку. Панский придумал возникнуть в суде человеком, которому болтик предписан секретными целями для государственной надобы. Публика зала-базара не сможет понять эти цели, она пусть почешет затылки: в чем дело?

У входа в почтенное здание, в дом правосудия в нашем районе, снова подвергся Виктор Антонович опасности.

Потный детина стоял перед ним в позе дедки за репку.

Ровная темная челка непышных волос покрывала детине надлобье сплошным тонким слоем, уши-лопаты довольно бандитского внешнего вида почти доставали мочками до пиджака на плечах и не было видно какой-либо шеи.

— Привет! — он протягивал к Панскому руки мощностью, может быть, в две лошадиные силы.

Детина, похоже, был занят оптовым отловом сограждан, хватал их и пакостно прятал в мешок или шут его знает чем он занимался.

— Пустите! — взвизгнул и вздрогнул от этого визга Виктор Антонович.

— А ты чего делаешь? И мне тоже нечего делать особенно. Давай тогда, что ли, здороваться снова. Привет!..

Слякотный тип, определил его Панский, небось и науке такой хамо-сапиенс еще неизвестен. Откуда нашелся? Доставлен сюда на верблюде принудительно, ждет своей участи, не понимает значения происходящей трагедии.

— Пустите! — Виктор Антонович хотел обойти дурака стороной по газону, ломая живые тюльпаны, хруст стебельков у которых был нежен и слышен, как писк

беззащитных существ, но детина полез к нему на газон обниматься.

— Ты меня разве не помнишь? — ведя кормовую охоту на Панского, парень давил сапогами тюльпаны, те пикнуть не смели со страха. — Ты вспомни! Мы познакомились в поезде, ты меня выручил.

— Это как я вас выручил?

— Мы познакомились в поезде?

— Нет, я вас доселе ни разу не видел.

— А ты не ври! Только, чуешь, не ври.

— Но, честное слово, честное слово, что вы обознались.

— Обознался? Когда? Сейчас или в поезде я обознался?

Виктор Антонович вспомнил его.

Конечно — тот самый попутчик. Они познакомились осенью прошлого года внутри электрички. Панский дочитывал песню в газете, читал ее вместо подорожной. Детина, желая вступить в разговоры, поигрывал импортной зажигалкой, которая, как полагают иные владельцы таких зажигалок, является знаком отличия для человека и служит ему знаком качества. Раз у меня дорогая красивая труднодоступная штука лежит на ладони, я не простой, выдающийся я гражданин, а те, кто беднячки перебиваются спичками, те ниже тех, у кого зажигалки, внушали глаза попутчика закон опереточной субординации Панскому. Наверяд ли детина чувствовал разницу между понятием истинно быть и потугами тщетно казаться. Быть или не быть — это вечный вопрос и весьма разветвленный. Поэтому Виктор Антонович разборчиво не признавал у людей никакого другого богатства, кроме таланта.

Напрасно звените мошной.

Ваш миллион ему не указ уважать человека за выспренный материальный достаток.

— Эй, ты на комбинате работаешь или в организации? — спросил обладатель импортной зажигалки голо- сом обнаглевшего следователя.

— Сю-сю-сю, тара-ра! — пропел в ответ ему Пан- ский, погруженный в газетную песню.

Нотную грамоту Панский не знал, а зато сами слова были вроде бы наши, касались озимого сева, но, исходя из бумажных соображений печати, зарифмованные под буриме. Панский в дороге выдумывал песне свое музы- кальное сопровождение: тара-ра, сю-сю-сю!..

— Где комбинат-то? — заядло вцепился парень.

— А где-то, кажется, там-там-там!..

— И заработки приличные?

— Там? Оклады за двести. Прилично платят.

— Еще бы!..

— Что значит еще бы, сю-сю-тара-ра? Хватит этих.

— Устроиться можно подсобником?

— Я возьму, приходи, рабочая глупая сила нужна.

— С общежитием? Общежитие! Сколько там отпуск?

Насчет общежития Виктор Антонович уверенно гнал околесицу долго, минут этак десять, без паузы. В конце разговора, вырвав листок из блокнота, Панский составил рекомендательную депешу высокому чину по кадрам и подписал ее закорючкой, как в нотах:

— Во!..

Сюжет, ехидничал Виктор Антонович, воображая смешные последствия, что безработный курильщик од- нажды рысцей со своей зажигалкой средней паршивости припрется на комбинат, если где-нибудь есть обалден- ный такой комбинат и комбинаторы на комбинате. Здра- сти, детина пришел и сует еще грамоту, но выясняется что? Что по Сеньке и справка. Нарвался на кукиш.

Это сюжет, похвалил себя Панский за юмор, это сю- жет!..

Или что здесь?..

— Или не нравлюсь? — пытался парень уже на ступенях суда. — Ты на меня так уставился!..

— Гляжу, что за честь, — ответил ему Виктор Антонович. — Извините, вас из какого Главпуза направили?

— Да меня зовут Славкой, вспомнил? Я дворником на комбинате.

— Ну, поздравляю. Ты пополнел, красавец метлы. Где твоя прежняя девичья шея?

— Спроси перво-наперво, как я живу. Хорошо я живу! Купил орден за треху у пьяницы. Мать все болеет, я говорил тебе, что за болезнь у нее развилась. Я тебе говорил?

— Говорил?

— Говорил! Посылаю домой дорогие лекарства, не думай.

В соседнем поселке, куда Виктор Антонович осенью прошлого года толкнул его делать успешно карьеру стахановца и толстосума, представьте себе совпадение, именно в этом поселке был небольшой скобяной комбинат, и на том комбинате как раз не хватало зануды — вот вам и сюжет.

А что такое случайные совпадения? Это случайные совпадения того-сего, как нарочно. Существуют они без всякого правила. Боясь ошибиться, мы никогда не берем их в учет как опорные точки судьбы на житейских распутицах и справедливо стараемся не вспоминать о них, не признаемся, что с нами творится повсюду нечто такое, затем еще нечто подобное. Случайные совпадения невозможно заранее предусмотреть эгоистическим умыслом или затем объяснить здравым смыслом постскриптум. Они охраняют нас от беды, когда неожиданно что-то совпало вполне в интересах удачи, но чаще, когда не бывает удачи, они предают нас на самой надежной дороге. Те совпадения, которые нас охраняют, как и эти, которые нас предают, — они так или сяк одинаково к нам

равнодушны. Для тех и для этих нет одинаково разницы, где мы кантуемся — на поругании либо на вечере почестей. Но все-таки те лучше этих, ибо не могут быть те хуже этих, которые хуже, чем те.

Конечно, странные мелкие происшествия, как шелуха на ветру, не заслуживают упоминания в массовой прозе. Нет, они были бы неубедительны и в официальной характеристике с круглой печатью на фирменном бланке. Ну, кто нам поверит, пусть мы и поставим на эту бумагу печать своего управдома, что Славка благодаря совпадению мелких случайностей лихо добыл себе место под солнцем на скобяном комбинате? Хотя насчет Славки, пожалуй, поверят и без управдома. Да, насчет Славки поверят участливо: «Надо же как обернулась ему вакансия!» Но в отношении Панского, что с антикварным болтом идет в суд, усомнятся: «Вообразить невозможно такое!» Болт — это, скажут, округлая вещь из особого сорта металла. Болт — это не главная сцепка характеристики на человека, хотелось бы, скажут, узнать о нем, что представляет собой некто Панский по крупному круглому счету, на сколько процентов дает производственный план, аккуратно ли вносит в сберкассу квартирную плату, как он выполняет свой долг перед обществом и коллективом. Угрюмисто нам это скажут, и мы согласимся ликующе, главное в жизни — долги. Но жизнь, когда мелкие странности день за днем ткут ее для человека по-своему, жизнь эта ничуть не беднее воображения. В жизни, где постоянны мелкие странности, мелкие пакости, в этой запутанной мелочью жизни мы как на хорошем концерте. В ней как на хорошем концерте случается все. Неглавных событий в ней больше, чем главных, она кишит ими.

Помните — как на хорошем концерте?

Ведущая тема симфонии крепко заряжена, заражена, заморочена шквалом коротких раскатистых звуков,—

а музыка, кстати сказать, допускает абстракцию, чтобы короткое было раскатистым, и не велит усомниться в ее верховенстве, — ты, несогбенный, сидишь в напряжении этой решительной воли как основной современник-сторонник ее самозванного самостихийного шквала. Но шквал устает, и тогда в дело входят опрятные флейты кого-то жалеть. Они тебя просят расслабиться. Вежливо просят им уступить, а лавина грохочущих яростно звуков сметает их снова — шквал опрокинулся сверху с такой неожиданной силой, что кажется передрались оркестранты. Слушая, надо вмешаться, но робкие флейты стоят у тебя на дороге, пронзительно просят расслабиться. Что делать? Убрать их оттуда — симфонии нет. Они пустячки, но в своей несогбенности ты бесполезен без них, как боксер без боксера на ринге. Без них, — только с нашими планами, с нашей, конечно же, самой дешевой на свете квартплатой, — сидели бы в кожаных креслах такие большие лже-мы. Не сюжет?

Внезапно народным судьей оказалась особа не старше девчонки в конце пионерского возраста. Впечатлительный Виктор Антонович оторопел, она фигурировала на босу ногу по залу. Судья? Поминутно хватая себя за голову, судья порывисто дергалась и поправляла нескладную глыбу модельной прически, которая взад-вперед ерзала на голове, словно чужая какая-то ноша займы. Выпей холодного молочка, не волнуйся, пожалуйста, детка, не плачь, — едва не сказал он упавшим голосом и неожиданно сел отойти нервами на скамье подсудимых. Однако в присутствии Панского скромница в ситцевой кофточке легко повзрослела мгновенно. Теперь уже вовсе не знаю, задумался Виктор Антонович Панский насчет этикета, не знаю, с какой стороны к ней толково приблизиться, как ей представиться. Чудная ты вся, сопел мысленно Виктор Антонович. Ему захотелось интимно присвоить ее небольшую белую брошку с

пейзажем столицы, встать и по-своему сейчас отцепить ее с этой пикантной кофточкой. Благоприятное было мгновение. Женщина малыми средствами, только замашками женщины, больше ничем, или только босыми ногами, больше ничем, и только мужчине способна создать обстановку взаимовживания с ней по закону фатальной договоренности. Панский не спрашивал, откуда взялась эта смелая договоренность,— если фатальная, значит она возникла сама по себе, как пространство.

Славка тоже вошел в канцелярию.

— Слава,— строго прощепетала судья, пряча пятки в тесные туфельки на каблучках.— Я велела тебе ждать меня за воротами.

— Человека спасаю,— пропыхтел он угрюмо.

— Спасай, да живее. Сейчас открывается заседание.

— Чья ворона? — заметил он чучело птицы на подоконнике.

— Вещественное доказательство принесли, ты не прикасайся.

— Дохлая!— Славка невозмутимо выдрал у доказательства полхвоста.— Не летает.

— Ой, ты что натворил!— ужаснулась уже по-детски судья.

Славка выволок Виктора Антоновича за шиворот в коридор и давай щекотать у него под носом грязным вороньим пером:

— Анька моя коренная землячка! Пойдет она за меня или нет, обмозгуем.

— Дра-азни-ишь!— Панский, чихая, выстрелил болтиком в стену.

— За эту серьгу с тебя литр браги, не меньше.

— Серьгу? — спросил радостно Виктор Антонович, дыша левой свободной ноздрей, так остроумно раскупоренной.

— Да, за нее — магарыч! — воронье перо Славка вытер и выбросил. — Умойся в мужском туалете.

3

Слушалось гиблое дело старухи.

В ее заявлении в суд обвинялся по всем статьям уголовного кодекса некий Флорентий Флорентьевич Рогов: сживает народ с бела света.

Вздор, если вдуматься. В прошлом умельцы похлеще Рогова, не кустари, как он, а записные профессиональные людоеды, пытались и не подюжили целый народ извести поголовно в могилу, хотя перепортили многих и много нарыли земли. Нельзя поддаваться, конечно, беспечности, чтобы не повторилось это бесчестье, но не будем излишне мнительны. Вряд ли сегодня всех нас истребит, о сограждане, этот несчастный Флорентий Флорентьевич.

По сути старуха скулила в своем заявлении, не говоря ни словечка про целый народ, она разумела конкретно себя, когда излагала обиды, — старуха, когда излагала жалобу, считала себя той душой населения, какая нисколько не хуже, нисколько не лучше любого из нас, кто совместно с другими старухами, директорами, каландрочками, кролиководами, крановщиками, забойщиками, конференсье, космонавтами, секретарями, портными, партийными и беспартийными душами в данный момент образует народ, и поэтому нечего скромничать, можно сказать о себе как сказала. Действительно, разве несправедливые действия против отдельной старухи творятся не с нашим народом?

Чей я, когда в меня целятся?

Негр-альбинос?

Я — народ, и старуха — народ.

А тогда кто Флорентий Флорентьевич Рогов?

Он тоже не хуже, не лучше любого водопроводчика.
На суде разберемся.

— Истица, — спросила судья. — Почему в заявлении вы называете Рогова только по кличке?

Лысый мужчина, ответчик, резко поднялся со стула:

— Извините, дабы уточнить! Это меня не она так. Этой кличкой меня обеспечил один отдохавший товарищ советский писатель. Я не сержусь, я веселый, во-первых!.. Я крайне веселый... Мы с ним удили налима на пляже летом... Удили, удили, поймать ничего не поймали, но коньяку, во-вторых, коньяку...

— Садитесь, садитесь, пожалуйста, — сказала сердито судья, угмонив его. — Спасибо. Вы были священником?

Флорентий Флорентьевич снова вскочил и замахал головой направо-налево, будто бы кланялся в цирке после хорошей репризы.

Не подобострастие обозначали эти поклоны-кивки.

Не озорство — потому что для гибкой высокой фигуры Флорентия Флорентьевича было приятнее тратить энергию, двигаться, жестикулировать, а не сидеть сложа руки крестиком.

— Вы что-то путаете, — Флорентий Флорентьевич принял армейскую стойку. — Докладываю! Я был генералом от артиллерии, стрельба, канонада, знаете... Мда, такое мое ремесло... Не путайте... Но продолжаю... Выпито много... — Что? — буднично переспросила судья, которая отвлекалась мыслями на другое.

— Коньяку, конечно. Не соды.

— Генералом? А кто вы сейчас?

— Я по-прежнему Рогов. Углубленный в другую работу, конечно.

— В какую работу?

— Возглавляю.

— Что именно? Где?

— Культурный и массовый секторы в том санатории, где и товарищ она возглавляет свое, — Флорентий Флорентьевич поклонился старухе.

— Не соврал, — подтвердила та. — Культурник отец Флорентий, так и зовут, как написано. Вот, а еще запишите, кто спер мои ведра. Кстати, кто спер их?

— Истица, точнее, точнее, пожалуйста, назовите свои претензии к Рогову.

— Чего называть-то? Машину купил — это не страх? И катается в ней почему зря, то со станции, то на станцию.

— Ну и что? Пусть катается.

— Нет, барышня, запретите.

— На каком основании?

— Вдруг на меня наедет?

— Рогов, а вы ничего не хотите добавить?

— Добавлю, добавлю!..

— Сядь, что взвился? — оборвала старуха. — Плохо вы, барышня, судите, молоды, нет у вас грозности. Дело-то как было? Сразу купил и поехал, а как управляют этой машиной, меня не спрашивал...

— А вы это знаете? Вы можете сами машину водить?

— Я-то? Господь, упаси меня.

— Тогда зачем ему? Зачем ему у вас спрашивать?

— А что не спросить? Язык не отвалится. Из уважения должен спросить, а вдруг я все знаю, водила сама...

— Бронепоезд? — сострил генерал.

— Вы, помнится, хотели что-то добавить.

— Отличный писатель! Читал его пьесу, там действуют лица...

— Барышня, не волокитьте. Время идет, а кабины закрыты. В обед открываю.

— Какие кабины?

— Мужские и женские — все под замком у нее! — крикнул Рогов.

— Оставишь — уделают.

— Это произвол! Этому пишут инструкции. Не смей запирать на замок общественные сортиры, нечистая сила!..

— Сперва научись, ораторий несчастный, со мной разговаривать! Что бороду вытаращил? Слушайся ба-рышню.

Небрежно довольная, как юбиляр, принимающий почести, старуха на первой скамье перед судьями высунула кончик языка, распустила улыбку, взглядевшись в которую Виктор Антонович изобличил в ней присутствие многих загадочных мордочек, собранных вместе, как в басне; подбородок и нос изображали мордочки блеклых игрушек из детского дома; на лбу старухи росла волосатая бородавка, точно смышленный кузнечик явился давать показания по вызову судей, закинув назад поседевшие нитки усов; а на выпуклых пухленьких щечках старухи мерцали морщинки, — участвуя в общем настрое, морщинки тоже чертили какие-то дряблые рыльца по своему. Раскисшая вдрызг от улыбки старушечья глупая физиономия с кончиком языка в этой слякоти напоминала собой чайный гриб, у которого в складках юлила голова змеи.

— Никому не дает ни житья, ни покоя! — культурник отец Флорентий топал на бабку ногами, подергивал грудь. — Мы все в ней погрязли, не дышим! Она третиристка! Делает утром уборку, вы полагаете? Нет! Остро-слова-директора нашего женоподобного делает идиотом она. Письменно сводку представить ей требует. Юрка завхоз от нее месяцами прячется в погребе, спился, свихнулся, померк. Она санитарок изводит... А вечером дразнит меня! Лезет ко мне — давай рапорт!.. Я ее скоро побью...

— Контроля пасует, — уела старуха Флорентия.

— Да кто тебя уполномочил? Тебя ненавидят!..

— Его больно любят, целуют!— сказала старуха.— Такое мурло.

— Да вы на себя натравите свою криворотую критики, кто вы! — горячился Флорентий Флорентьевич, артиллерийский военный.— Вы... Извините немного, что я вас на вы...

— Говори...

— Вы моете, моете всюду сортиры, а после сортиров ползете прямо в столовую ложки на кухне считать... Она фанатично считает ложки...

— Брезгуешь?

— Интересно. Интересно мне, где гигиена...

— Чего? — спросила старуха, переходя на шепот.— А чего надо-то?

— Вы,— тоже вполголоса тот уличал ее по душам.— Вы — неряха-а?..

— Ты сам, что ли, ряха? — старуха вновь обрела свой воинственный пыл.— А ну-ка, смотри на меня! Смотри — меня видишь! А теперь и на себя посмотри в микроскоп. Или не разница?

— Разница, разница. Вам на заказ отливали такую мордень из испанской короны.

— Закрой свою фильку, слушай трудящихся. Ставлю вопрос — устроить обжорную конференцию надо в столовой...

Шло, помнится, время — природа не любит простоя. Поэтому, чтобы потратить остатки суда продуктивно, Панский пешком отправился налегке по степи. Виктор Антонович отправился мыслями в глубь августовской степи, над которой пока что живое российское небо дает урок адаптации человеку. При созерцании чистого неба,— Виктор Антонович интимно считал это созерцание выходом в космос и встречей с открытой Вселенной,— мы получаем энергию той чистоты, которая нам освежающа, как обновление. Мы получаем ее все по-раз-

ному на частоте соблюденной своей чистоты. Следом за Панским сюда прошагала жующая масса простого народа с обжорной конференции. Панскому были слышны всевозможные возгласы, неторопливые крики восторга, нетерпеливые жаркие реплики вместе с горячим дыханием этой дружины: «Сейчас он как скажет, оно так и будет!.. Увидите — сильный мыслитель!.. Оно так и будет, и по-другому, чтобы иначе, после того, как он скажет, уже никогда не случится... Силен!.. И нос у него силен — тоже прямой, без болта!..» Виктор Антонович отпил, отхлебнул из ореховой плошки всего полглоточка воды, задумался, глядя перед собой философски на небо.

Шло, помнится, время.

...Мы сопричастны Вселенной. Человек, едва надивившись, уже получает у нее себя самого. Поразительно в этом явлении что? Почему, например, эти клетки материи образовали разумный росток именно в той комбинации самопорядка, чтобы на свете родился Виктор Антонович Панский, вития, рубаха-парень, и почему, например, у Вселенной таким человеком стал я?

Виктор Антонович изысканно в паузе выдержал индифферентную непринужденную позу героя, — торсом игриво, по-римски, отпрянул назад, — это движение было мгновенно размножено на миллионе домашних экранов пяти континентов.

...Вообще-то, Вселенной ни жарко ни холодно, кто среди нас у нее будет Панским, она каждого любит не за фамилию, дарит здоровье и чувство прекрасного всем одинаково, здесь у нее достигается через людей цель одухотворенности мироздания.

Видно, что Панский сегодня в ораторской мощи превосходил остальных трибунов, как среди прошлых глашатаев истории, так и среди предстоящих ее проповедников и перечеркивал их по всем статьям этого жанра.

...Без опеки Вселенной человек одинок и бродяч, ему страшно, со страху безумствует.

Аплодисменты.

...В шелесте леса, в почерке мастера, в запахе свежего хлеба, в тревоге высокого дня посылает она свои позывные. К людям идет информация средствами вечно живой красоты.

Подкупала манера Панского складно рассказывать, объясняя разные мысли не по записке.

...Жизнь измеряется вечностью, где настоящее неразделимо ни с прошлым, ни с будущим, и красота, без чего мы слепы в отведенном пространстве, творит обстановку предметности. Красота привносит устроенность, учит искусству прощать, означает истину, дает чуточку соприкосновения с вечностью, но постигается нами не вдруг. Еще надо много трудиться, чтобы постичь ее. Бескомпромиссно трудиться в поте души. Зато светоносный момент постижения равен инобытию. Человек обостренно волшебствует.

Бурные продолжительные аплодисменты — словно по куполу зонтика топали частые градины.

...Я был на свете всегда! Потому что в то время, когда сам еще не родился, присутствовал, если хотите метафору, как невидимка, с которым заочно считались. Особо ближайшие предки серьезно считались. Они, пока я не родился, держали в уме вероятность смены, мол, скоро к ним кто-то придет. Я пришел. Я останусь и после себя, потому что хочу сделать уйму полезных вещей, пока жив и красив.

Овация долго на этот раз не затихала — зонтик и то порвался, градины били по черепу, словно плевки.

...Зло нам откуда приходит? Это — недоработанное добро. Когда мы со страха и в спешке теряем ориентиры. Красоте мы со страху и в спешке предпочитаем имитацию красоты. Суетливые люди, не мысля себя на работе

людьми-долгожителями, мы спешим абы чем украсить для показухи. В итоге замены живого кукольным и создаем у себя мир убожества. Не смущены примитивной продукцией, в которой нет яркого света, слабенько теплится что-то копящее, тусклое, не смущены такой грязью, даже спешим увеличить, умножить ее количество, думаем, якобы здесь оттого не светло, что, наверное, мало продукции.

...Ныне зайди сюда Ньютон, он отчитал бы нас — яблоку негде упасть по-хорошему наземь.

...Склоки, скандалы, скопление грубых изделий, свалка, похожая на баррикады, — вечностью здесь и не пахнет, если не принимать во внимание вечную мерзлоту нашего сердца. Жизнь испорчена, люди всегда таковы, какова их работа, которую делают, ибо любая работа тоже делает этих людей на свой лад, а не просто бывает обузой.

...Так, отвергая прекрасное, человек совершает подлог собственной судьбы.

Бурные, никогда не смолкающие аплодисменты.

Панский ждал окончания шума.

Поднаторевший на поприще риторы, Виктор Антонович Панский относился весьма негативно к аплодисментам. Искушенный, как обзывал он это, в идоломании публики, Виктор Антонович угадывал их угрозу на слух. Агрессивные аплодисменты. Других и не было никогда никому. Вникните, мигом услышите челюсти, жвалы — щелканье, лязганье, шарканье, чмоканье стаи бездарнейшего прощальжья, которое настрополилось охотиться.

Панский нехотя возвращался в лоно суда, там уже все правовое действие расцветало по-новому. Старуха сидела румяная с растегнутым воротом, а культурник отец Флорентий набылся важно в пенсне. Противные

стороны, вследствие длительной сечи не замечая друг друга, смотрели только на заседателя, когда говорили ругательства. К нему, к заседателю, обращены таким образом были в первую главную очередь и несусветная дикая чушь, и хула забияк — оборзевших, избравших особую новую схему баллистики между собой через Панского.

— Вспомни, подлец, антресоль!— указывала старуха Панскому.— Думаешь, и не знаем и не догадываемся?

— Ты шишка не нашего рака!— бросал ему хлесткую фразу культурник отец Флорентий для передачи по назначению.— Могу тебе подробности сообщить, опухоль. Я по чертежам из английского технического журнальчика без перевода сам антресоль изготовил, у меня золотые руки...

— Тебе зачем антресоль? У тебя два буфета зеркальные, все тебе мало...

— Тайник оборудовал.

— А-аа!— завопила старуха на Панского.— Прогорвился!.. Граждане судьи, поймала шпиона! Долго ловила, не долго терпеть остается, контору какую-нибудь обворует.

— И подпалю.

— Дотла?

— Я некурящий, чтобы дотла!— рявкнул Флорентий Флорентьевич убойно, злой, как дракон.— Я, граждане судьи, ржавой копейки... Да что копейки? Ржавой кнопки нигде никогда не присвоил, если не ошибаюсь... И некурящий!..

— Ты лично прятаться будешь в тайник!..

— От кого, зачем? Я ничего не боюсь, от кого мне прятаться? Там и ребенку места не хватит укрыться...

— Граждане судьи найдут, от кого...

— Ты... Ты требуха, не прими за шутку...

— Чихвость! Я не стесняюсь. А зубами не щелкай. Защелкал, аж искры летят.

— Это слюни, простите, летят.

— Прос-сти-те! — передразнила старуха Панского заместо бывшего генерала. — А то золотые руки! Прощения так не просят. Я не прощаю.

— Руки мои нужны! — Флорентий жестикулировал пальцами, как глухонемой.

— Пригодятся, — сказала старуха. — Канал Волго-Дон у меня рыть пойдешь от Москвы до самых до окраин. Я на тебя документы выпишу...

Склочники поднадоели. Виктор Антонович упарился воспринимать их грызню, мечтал о побеге, но в самый последний момент он услышал игривый застенчивый скрип неизвестного происхождения. Скрип уникального свойства шел из-под низу. Слабый, зато выразительный как органная музыка скрип из-под низу легко достигал ушей Панского, повергая того в экзальтацию.

Скрипела капроном коленок судья.

Виктор Антонович ответил ей ласково. Панский, насколько мог, украдкой погладил ее колени, дотронулся нежно до живота, втихомолку дальше проник, еще дальше. Под что-то куда-то ладонью, чутьистой не хуже собачки. Пожалуй, кому-нибудь это покажется похотью, нет? А то Панский проделывал остросюжетные манипуляции несуществующей правой рукой. Действуя конспиративно, рука только числилась якобы несуществующей, когда с аккуратностью передового сапера гуляла по минному полю судьи, — рука только числилась якобы несуществующей, но постоянно давала знать о себе, как живая рука — то болела к ненастью, как от ушиба, то была самой надежной помощницей часто во сне, где во всех эпизодах она была главной, когда ненароком утюжила брюки.

— Граждане судьи — поддерживая себя за поясницу,

культурник отец Флорентий запрыгал по залу, как кенгуру в пенсне.— Сделайте, граждане судьи, крепкий разумный закон! Я выносливый, но защитите...

— Правда,— вздохнула старуха.— Тощий такой, а выносливый. Вынес домой полстолярки. Ты куда скачешь? Дать ключ?

— Железный закон, обязывающий эту бактерию не попадаться мне на глаза никогда! — потребовал Рогов, уже доскакав до прилавка судейской коллегии.— Не то, наконец, обнаглею, засуну тебя в антресоль, упеку, замурую...

Трагически тощий, такой, что кожа, того и гляди, порвется на нем от резких движений, Рогов запрыгал по залу на свое место.

— Гной! — сказала старуха невозмутимо.— Пишите, граждане судьи, врет. Я туда вся не смогу поместиться. Ноги не влезут. Имейте в виду, как улики...

— Локальный закон...

— Это нетушки! Чтобы лакать алкашу ничего не давали...

— Клянусь, идиотка, дубина, сопля, хулиганка, дворняга, порву на куски! Я тебя по кускам, я тебя по кускам...

— Съешь?

— Я тебя по кускам упрячу тогда под амбары! Воняй, разлагайся, пишите...

— Мне — вера! — побагровели сразу все мордочки на лице старухи, все взбеленились и были готовы броситься в драку.— Пишите скорее, хорошие граждане судьи...

— Жаль, нет здоровья, пошел бы по миру...

— Фигушки вам, а не порция сала...

— Чтобы вовеки с тобой не встречаться...

Злоба людей меняет их облик, обезображивает их, уничтожая черты лица,— в ожесточении люди стано-

вятся неузнаваемы для справедливости, которую будто бы все здесь искали, хотя никто не жаждал ее присутствия по-настоящему.

Виктор Антонович отлынивал от обязанности заседателя, сосредоточил усилия возле судьбы. Панский не лапал ее, но лепил изваяние, работая более правой свободной рукой по живому материалу. Конечно, Виктор Антонович и лапал ее, когда лапал. Это конечно. Когда в уголках анатомии старался что-либо получше вылепить юзом и тщательно вел отделку пикантных подробностей, лапал. Она спорила с ним, она предлагала подсказки, свои направления линий, свои варианты лодыжек, ушей, запястий. Панский, для которого ничего невозможного в этой работе не было, соглашался в угоду заказчице на все подсказки, не теряя себя как опытный самостоятельный мастер. Ему хотелось обрадовать и сотворить эту женщину точно такой, как она сама того пожелала.

Вдруг по просьбе истицы заседание было отложено вплоть до другого числа.

На улице нервничал дворник Славка. Утром судья посулила ему на часок прогулку по лесу. В лес было поздно — без малого три пополудни, а с трех начинается на комбинате славкина вахта царапать метлой мостовую.

— Я вас провожу на автобус,— Виктор Антонович определил, что настало его кавалерское время, когда Славка на велосипеде верхом исчез под гору.

— Детей завести не захочется? — спросила судья в упор ободряюще.

— Мне? — Панский слегка растерялся, промешкал ответить экспромтом ей непринужденно что-либо веселое, сочное, теплое, что помогло бы теснее сдружиться.

Панский вспомнил, что, к сожалению, раньше не разглядел у нее почему-то распева лица мало-мальски внимательно за суетой на качелях судьбы.

Лицо было точно по замыслу — давеча сам его со-
здал.

Иссиня-глазастое.

Покудова Панский затем привыкал к этой роскоши, как привыкает автор этюда к новому детищу, судья с высоты каблучков поцеловала в усы своего заседателя и упорхнула к автобусу.

4

Виктор Антонович пошел напрямик дворами.

За фасадами бань и сберкасс удручала картина вульгарного захолустья. Кроны деревьев под тяжестью копоги, темные, жирные, словно застойный промышленный дым, устрашали пейзаж. Овальным обломком исчезнувшей боярской цивилизации маячило справа на пустыре каменное крыльцо, на котором уцелела доселе для нужд самиздата, вооруженного шилом, единственная кариатида, весьма беззащитная статуя, где на спине, на груди, на боках, ягодицах и даже на лбу нацарапана хроника встреч и разлук, и мелькали кривые заметки, кто пес, а кто псих.

Уличное графоманство соседствовало вплотную с административной письменностью, которую проходимцы русского языка развели на заборах и стендах, учредили, развесили как информацию, как объявления, как очаги речевой шелудивости. На Панского с разных сторон, отовсюду, конечно, по-наглому, перли перлы комиссариатов, исполкомов, управлений, сообщавших ему, что «состоится суженное заседание...», что «Производятся сборы взносов...» и прочая белиберда — такая же точно бирюковатая белиберда, как и «пенсионеры союзного значения», как и «центр края», как и «министр куль-

туры», почти что заведующий нашей цивилизацией. Но только не думайте сдуру, что женихи да невесты наметили где-то свои посиделки, — там объявили про сходку чиновников узкого круга. Понятно, когда собирают оброк, а не взносы — взносы, весьма добровольное дело, наверное, вежливо надо принять у людей. Кстати, не ясно какое значение могут иметь эти пенсии для государства — оно падет или взвинченно выживет, если деды заартачатся завтра принять у него свои пенсии?

Аляповатая графика этих шедевров тоже рождала тоску.

Дважды Виктор Антонович едва не распластался на местности. Во-первых, его зашатало с испуга, как только вошел в эти дебри. Затем, — уже во-вторых, уже через несколько метров пути по холмам, — его неожиданно снова качнуло, когда зацепился шнурками туфель за железку, вставшую в землю. Дальше, наверное, двигаться было бы надо ползком, как на фронте. Снова кому-то нейдет тебя превратить в червяка. Но, конечно, мужчины и женщины, кто разбросал эти тряпки, эти железки, вряд ли между собой заключили пари доканать его здесь, они были давно ко всему равнодушны, живя в предназначенных сносу халупах. Им обещало родное начальство построить ячейки с балконами в центре поселка не хуже, чем в центре Москвы. Люди задешево ждали свое новоселье десятками лет, обвыклись и, наконец, отреклись от уборки мусора на территории, что временно принадлежит им.

Это что временно принадлежит им — аборигенам, отцам?..

А вскоре лихая дорога подвергла Панского новому риску. Перед очередным искусственным оврагом он, озирая телеграфные провода, висевшие над землей так

невысоко, что местные домохозяйки сушили на них одеяла, задумался и поскользнулся.

Подошвой по птичьей оторванной лапке Панский проделал отважный кульбит — это было начало фантома.

Падая, чтобы сломать себе шею, Виктор Антонович орал изо всей своей силы что-то нечленораздельное — крик и помог удержаться ему на лету, вместе с криком он взвился стрелой выше зданий.

Виктор Антонович, исколесивший за многие годы жизни почти половину страны только по горизонтальной плоскости, ныне в полете познал кубатуру пространства, парил самоуком над рощей, над речкой, над железнодорожной линией, где чуть не столкнулся с курьерским поездом.

В почтовом последнем вагоне курьерского поезда торчала снаружи решетчатого окна небритая физиономия. Вот именно с ней на крутом вираже чуть не столкнулся Виктор Антонович. Отметим, что физиономия принадлежала пропойце, который, просунув ушастую буйную голову через решетку, застрял между прутьями, нервно вертел головой, как индюк, и конечно, без помощи слесаря нет у него вероятности на вызволение. Влажный, в соплях и в слезах, он издевательски захохотал — издевался над выходкой Панского, как это Панский летает.

— Эй, кому говорю, погляди — ты летишь!..

— А вы много выпили?..

— Правда — летишь!..

— Отвлекаете на пустяки посторонние...

— Шарфик уже потерял, идиотик! Охо-хо-хо! Нету шарфика...

— Что смешного?

— Как это что? Ты — летишь! А наукой подобное не предусмотрено — вот что смешно и обидно...

— Теория! Выплюньте из головы — теория только мешает практике...

— Надо же — как из рогатки... Среди бела дня...

— Все летают...

— Эй, прекрати по-хорошему! Кто это все? Ты за себя заступайся...

— Все мы способны летать...

— Имеешь ли право на положение?..

Время от времени все мы, конечно, способны летать, однако не верим себе, что летаем, прилипли трусливо к имуществу, приобретенному для неподвижного существования, держимся липко за наши ковры, зеркала, гарнитуры, сберкнижки, кофейники, за комический камуфляж, обнимая своими задами служебные кресла, когда нужна самая малость, — а нужно всего ничего для полета, нужны только вера в полет и куриная лапка на старте.

Виктор Антонович взмыл и не падает. Умельца несла возмущенная сила — терпела, терпела, долго терпела, долго дремала в нем и понесла, возмущенная затхлостью. Посредством этой стихии Панский сверху затеял уборку мусора, что нахлобился внизу. Кроны деревьев и цветники вспыхнули сочными красками, сделалось видно, в какое мы с вами живем время года. В отличное время мы с вами живем, а пропойца, зажатый решеткой вагона, тот уникам, он еще где-то в дороге, по-прежнему крутит и вертит, небось, окосевшей своей головой.

СТИХИ

РОЖДЕНИЕ

Чей это взгляд так рвется вон из рамы,
Из раны слов? Кому он строит ковы?
Чей блеск, чей блик? С китайского экрана
Сбегает ангел многолепестковый,
Как тень того, кто не имеет тени,
И звуку звук садится на колени.

Земля мертва, она скользит бессветной
Летучей мышью между звезд озябших,
И нет любви, коль огонь ее ответный
Прозрачней лепестков полуопавших.
Мертвы вещей растрепанные розы
И мыслей однокрылые стрекозы.

Пускай их сок, многоречиво-косный
Последнее удерживает пламя,
И рыбы, превращаясь в студень костный,
Еще вращают полыми глазами —
Мертва душа, она окоченела,
И в льдистых смолах растворилось тело.

Но не злорадствуй, самозванный шорох,
Что наша плоть остыла и увяла:
Есть сплав лучей, он блещет в слезных шорах,
И легче вдоха, и прочней металла.
Нездешней кровью полны наши жилы —
Нетленны мы выходим из могилы.

Не зря мы опускались в сердце звука
И эту твердь насквозь перебежали.
О, что нам стыд, и голод, и разлука!
Наш брат, рожденный в солнечном зеркале,
Полюбит нас и станет нашей тенью —
И мы готовы к новому рождению.

1991

ПЧЕЛЫ

Как живут в душном сердце моем
Пчелы, мед свой сочащие едкий
В за граненым дрожащий стеклом
Пышный мир злато-сизой расцветки?

Как живут, и как сам я живу,
Мельтеша остывающим телом,
Просыпаясь порой наяву
В этом воздухе, нищенски-белом?

Ведь гудящая лестница строф —
Только тень золотого жужжанья.
Да еще я и сам не готов
Для мигающих радужных снов,
Для лучистого существованья.

Слишком желтые тельца быстры,
Слишком остры горячие жала.
И боюсь я недоброй игры
В полушаге от края провала.

Но от пенья живой темноты
От избытка тепла и гуденья

Воды воздуха странно густы
И пыльцу в них роняют цветы
Запредельного происхожденья

1992

ЗИМОЙ

...И они вошли в немой и ярый
Редкий сад, где небо холодело
Вывернутой низкою воронкой.
Дуб мычал, и плакал тополь старый,
Мир повис на паутинке тонкой —
Так прощается с душою тело.

И они сказали: «Господине,
Есть ли что бездушней и зловещей
Сада, оскверненного зимою?
Как же не порваться паутине,
Как живут и не теряют строя
Эти люди, существа и вещи?»

Он сказал: «Природа — Божий кокон,
Свернутое в трубочку зеркало.
Персть бедна, а дух щемящ и едок.
Плоть как дом, темна она без окон.
Для кого-то этот сад и редок,
Чтоб томило, значило, звучало».

И они сказали: «Господине,
Что ж бредут беспамятные души
Дальнею, разрушенной палатой?
Оттого ль, что следа в звездной глине
Не оставил пешеход крылатый,
Что вода беспамятнее суши?»

Он сказал: «Земля еще бескрыла.
Узелок, как прежде, не развязан.
Разговор, как прежде, не закончен.
Каждый станет, воротясь в могилу,
Если приговор еще отсрочен,
Тем, чем он родиться был обязан.

Этот мир ни в кару, ни в награду
Создан, но недаром жжет и длится:
Есть всему значенье и название —
Свету, воздуху, стеклу и яду —
Шелестеть, звенеть, хранить дыханье,
Тьме звучать, но музыке светиться».

1988

ДВЕ ЗИМНИХ ПЕСНИ

1

Невидимые воробьи
Сошлись над нами в смертной схватке
И взбили воздух дрожью крыл.
За ними бьется в лихорадке
Одно из небольших светил,
Забывших имена свои.

А мы затеряны в толпе
Огромных стылых насекомых,
Потрескивающих во сне,
Чтоб сотни крыльев — невесомых,
Зеленых — вырастить к весне,
В дырявой черной скорлупе.

И в души полых облаков,
Что наши сплюснутые своды
За эту ночь пересекли,
Воздушные всосали воды
И в пустоту перетекли,
Войдем лишь сгустком грубых снов.

2

Что-то щелкает в отяжелевшей крови,
Кто-то клекает в бурой природе.
Божья пташка, не смей скрежетать о любви
И не смей верещать о свободе.

Да, я видел сквозь сон молодых снегирей
С королевскими злыми глазами,
Я звериные запахи теплых морей
Полюбил, в их крови исчеза.

Раздраженную кожу зеленых морей
И больных кипарисов свеченье...
Но теперь я на тысячелетье старей
И ничто не имеет значенья.

Ни проветренный сад, ни линялый квартал,
Ни сугроб оловянный под аркой...
Я не помню, кому свою смерть проиграл
Той приморскою полночью жаркой.

Божья пташка, давай помолчим о любви,
Чтобы с нами пространство молчало,
И ленивая музыка ныла в крови,
Где ничто не начнется сначала.

Даже ты не поймешь, для чего я пришел
На собрание вещей некрасивых,
И гляжу на еловый изломанный ствол
И на небо в молочных разливах.

1992

ОЗЕРО

В липких лиственных клеенках,
В воробьиной воркотне
Отпечаток светлых, тонких
Нитей, рвущихся во мне.

И ничем уже не связан
С пляской памяти моей
Мир, что по небу размазан
Быстрой кистью из лучей.

Путь, что под ноги постелен,
С дерном, камешками, мхом,
На воде — глухая зелень,
Шорох в воздухе глухом,

Дальше — пестрая полоска,
Выше — отблеск золотой,
Выше — свод как бы из воска,
Сбитый птичьей запятой,

Выше — только ледяная
Обесточенная твердь
Знает все про всех, не зная
Ничего про жизнь и смерть,

Ничего про этот едкий,
Горький воздух; ничего
Про блаженный, влажный, редкий
Продых сердца моего.

В меркнушем воздушном слое,
В черных списках глубины
Камень, влага и живое
Больше не разделены.

Тьма, исчерченная светом,
Теплых капель круговерть,
Между тенью и предметом
Связь некровная и смерть.

Сходит солнце в дом свой тесный,
И встают из полумглы,
Застилая свод небесный,
Красно-бурые стволы

Старых сосен, и на водах
Чахлым золотом блеснув,
Гаснет свет, и дыры в сводах
Выдувает стеклодув.

В листьев резанной клеенке,
В воробьиной воркотне
Рвутся шелковые пленки
И огонь горит в огне.

1988

ЭХО ГРОЗЫ

Когда на части воздух рубит
Дурное громово дитя,
И собственное имя губит,
Слоями неба шелестя,

Когда в зиянья рощ ложится
Неисцеляющий удар,
И блекнет розовая птица,
Чтоб превратиться в кислый пар,

Не для того я лиру строю,
В огне не для того умру,
Чтоб хладно-взрывчатой игрою
Продолжить звездную игру.

Ведь после часа темной славы
Опять проснувшись в забытьи,
Войдут в земные дыры травы
И вещи — в имена свои.

А я, сгоревший и горячий,
Приду оттуда посмотреть
Как мира пухлого незряча
Еще не рухнувшая треть.

1992

КАТАЛОГ

Мне уже не снится шум колесный,
Спуск шоссе в разводах белой пыли,
Нежный запах приморской гнили,

Небо обжигающие шпильи,
Желтые пригорки, где застыли
Отощавшие от страха сосны.

Мне уже не снится жучье лето,
Жирный Борисфен в упругих скатах,
Древний львенок у холмов косматых,
Синька неба в облачных заплатах,
Круглый мир в бесчисленных утратах
От всепроникающего света.

Мне уже не снится пруд стеклянный,
Пудожские мшистые воротца,
Гипсовая слава флотоводца,
Урна, из которой скудно льется
Влага влаг, и небо, где смеется
Надо мною ангел полупьяный.

Снится мне небесная калека —
Звезды расклепавшая неряха,
Веретенце бросившая пряжа,
Города сжигающая птаха,
И ограда липнущего праха —
Скорлупа всемирного ореха.

1991

Дмитрий Закс

С Т И Х И

* * *

Не мети, зима, свой сивушный снег,
Голубой не гони сучок,
Я за горький грех, да за смертный смех
Не к тебе приду на расчет.

Я до медных льдышек с тобою квит,
До протертых речных полтин,
Я повыток с мелких твоих обид
Черным пóтом тебе платил.

Черным хрипом злым, да глухим стыдом,
Да кусками чужой парчи...
Не ищи, зима, мой пропавший дом,
Он горит не в твоей печи.

Не ищи во тьме мой пропавший след,
Вороной не гони конвой,
Я уже не встану, средь смердов смерд,
Перед волчьей твоей травой.

Не согнусь в дугу на твоих хлебах,
Не пойду под бренчанье звезд
В твой чумной острог, в твой чадной кабак,
На подтаявший твой погост.

Так что зря в вороньем своем лото
Ты по душу мою не кличь.
Я стою за сумраком, сам-никто,
Не деля с тобой пепелищ.

1992

* * *

Я ходил по легким твоим следам,
Я читал по круглым твоим складам,
Окуная губы в горячий воск,
То ли пчел твоих, то ли ос.

Я стекал слезой по твоим щекам,
Я платил с лихвой по твоим счетам,
Я в дрожащей ступе твоей толк
Ледяной черноты белок.

Только ветхий воск на губах прогорк,
Не пролез в ушко мой прозрачный горб,
Был я черным пчелам твоим не пан,
Их не спас, да и сам пропал.

Стали дни дрожать, как сойдя с резьбы.
Стала жизнь дешевле дурной рабы.
Не осталось тающих искр судьбы
В виноградной ее крови.

Я, наверно, больше забыл, чем ты.
Я гляжу назад, как на свет кроты.
И уже ничьи не видны черты
Сквозь коросту моей любви.

1992

Только вспухшие веки жары,
Только взрытые склоны грозы,
Только дрогнули грозди, жирны,
На блеснувшем отрогье лозы.

Только шорох и ропот в рядах
Убегающих лип и берез.
Только до смерти душный чердак
В человечесий беспомощный рост...

Только здесь — и уже никогда...
Только ныне — и больше нигде...
Чтобы ядрышком в толще плода,
Скользкой блестящей в шершавой руде,

Чтобы прочь, за оконный проем,
За пустого бульвара стерво,
За поросшее мелким быльем
Сволочное свое ничего,

За веселье, за сумрак и срам,
За упорство, за трепет и ляд,
За пошедший плясать по дворам
Этот винный, нетающий град...

Чтоб совсем, чтоб уже ни ногой...
Чтоб бессильно разжалось внутри...
Только сердце — окатыш тугой —
Ускользнуло из ветхой петли...

Только воздух вздохнул и обмяк —
Только пар да прозрачный дымок...
Да на мокрых до нитки холмах
Возвращающийся городок.

1992

* * *

Я не то, чтоб знал, как звучат слова,
Но куда-то текла река,
Но трещала в черной печи смола,
Но скрипела в саду ольха...

Я не то, чтоб знал, неживой воды
Набирая в дрожащий рот,
Что и я, как в ночные свои ходы
Переставший вмещаться крот,

Проворочаюсь в этом ничьем плену,
Очумевшим свернусь зверьком,
И уже заходясь в немоте, пойму,
Что она-то и есть закон,

Превращающий этот свистящий гул,
Этот шелест и трепет куп
В безнадежно-злое усилье скул,
В шевеленье обмякших губ...

Что бишь я?.. Я и сам не слышал... Прости...
Это так... Это нам, кротам...
Это только на вдохе саднят резцы,
Да на выдохе жжет гортань.

1992

* * *

Я запомню черную дорожку,
Скользкий край подгнившей синевы,
В мокрых листьях скользкую подножку
Дребезжащей под гору Москвы...

Я тогда, нахлебник и заочник,
На дрожащей выехал кривой...
Только ржавый воздуха звоночек
Просвистел над глупой головой.

Только посвист плеточки нагайской
Разгонявшей тесные сады,
Только запах корочки таганской,
Только привкус пресненской воды

Были мне на без году неделю
К стынувшей примешаны судьбе...
Стань, Москва, по щучьему хотенью.
Дай взглянуть как весело тебе...

Как по старым дворикам трухлявым
К непогоде голуби кряхтят,
Как склонясь над выцветшим уставом
Беспоповцы-клёны шелестят,

Как бредет в невымытых потемках
Не по-русски стриженный бульвар,
Как трещит на Каменных тетехах
До войны сработанный товар,

Как выходит месяц из тумана,
Перхотный подняв воротничок,
Как гроза пуляет из нагана,
Как гоняет дождик-дурачок

По садам, по папертям и речкам,
По дрянному времечку рысцой,
То-то смеху кольцам и колечкам,
То-то глуму тьме над крепостцой...

То-то было в городе веселом
Шито-крыто ниткою живой,
Лютым пересолено посолом,
Сброжено закваской дрожжевой...

То-то вьет петельку за петелькой
По-сорочьи хитрая река,
То-то светит верною статейкой
Тянущей на вечные срока...

То-то ломит поясницу Бронным,
То-то дробен воздух на Тверской...
Пахнет кровным, смертным и паленым,
И дождем, и смутой и тоской.

1992

Алексей Цветков

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕРЕВОД

* * *

невозможно теперь очутиться
в стороне где ребенком подрост
и зевосова умная птица
диссиденту врачует цирроз
а уж май нажимает волшебник
то вообще получает лапшевник

жить да по свету рысью сердито
прочь от варезек их от ворон
где со срубов не сходит селитра
и не молкнет мужской моцион
преуспеть в картузе и тужурке
сам буржуй и женат на буржуйке

свозят опрометь хану в хоромы
раз от мысли все мышцы сильны
в клеверах мужики-жукоборы
на жида выставляют силки
всенародный над ними борщевник
дверь не скрипнет не вспыхнет вообще в них

вместо в харькове или одессе
в час науки и муз торжества
хорошо оказаться в отъезде
чтоб не сделал привод старшина

пристален лист лозы и вяза
облачный вечен флот
так и живешь внизу следя за
круговоротом вод
в ельнике белки бег заведом
весь позвоночный жанр
археозойских вод заветом
полон по щели жабр

темени в небе швы уместны
в деготной мгме телег
чей нивесть кто на всех из бездны
мирных чуратель нег
в травнике день знобит короче
светоч удельных роц
или какой-нибудь нароче
добрый пещрится хвоц

не прогудит ни мысль ни птица
токарь уймет фрезу
едем в воде по локти лица
дно под собой внизу
речь на воде очей как фото-
вспышки внезапен бой
бережно звездные своды грота
думаем над собой

в мрамор мертвы тапир и нерпа
времени бронзов лист
вдруг человетвь висит из ветра
ворохом честных лиц
впору ли кровле зодчим спетой
стены его в снегу
и занебыть всей тенью этой
из-под воды к нему

П. Вергилий Марон

ЭКЛОГА IV

Песнь, сицилийские музы, начнем регистром
повыше.

Не на взыскательный вкус — тамариска
скромная поросль.

Если лес воспоем — пусть лес будет консулу впору.
Вот, воцаряется век последний из песни Сивиллы;
Наново нам сочтена чередя несравненных столетий.
Время пришествию Девы, возврату царства Сатурна;
Ныне иное с небес нисходит к нам поколение.

Ты одна, Лукина, рожденью младенца, с которым
Канет железный век, и племя взойдет золотое,
Чистая, светишь улыбкой; твой Аполлон на престоле.

Да, в твою, Поллион, консульство славная эта
Эра взойдет, и мощных месяцев шествие двинет;
В смену твою исцелим вины последние язвы,
И от извечной угрозы земле избавленья настанет.
Век этот будет даром божьей любви, и боги
Вместе с героями будут воочию явлены веку
В мире, которому мир дарует отцовская доблесть.

Но для тебя, дитя, земля, не знавшая плуга,
Первым прелестным подарком ползучий плющ
с валерьяной

И с акантом улыбчивым лотос вывесит в чаще.
Сами домой повлекут молоком набухшее вымя
Козы, и львов могучих страшиться стада перестанут;
Станет сама колыбель тебе распускаться цветами.

Сгинет тогда змея, и трава, напоенная ядом,
Сгинет вчистую; амомом земля порастет
ассирийским.

Но лишь о славе героев и времени подвигов отчих
Выучишься читать, и мужеству цену постигнешь,
Исподволь нивой волнистой вовсю поля зажелтеют,
Дикий шиповник румяным лоза пригнет виноградом,
Медом росистым наполнятся дупла упрямого дуба.
Впрочем, не вовсе избудется бремя прежних пороков,
Вновь Фетиду пытать кораблям, города опоясать
Стенам, вновь позовет бороздами разверзнуть
землю.

Новый Тифус сядет к кормилу нового «Арго»
Избранных мчать героев, новые вспыхнут войны,
Снова великий Ахилл будет послан к троянским
стенам.

После, когда с теченьем века ты станешь мужем,
Море забросит купец, и корабль сосновый оставит
Мену товаров, любая земля изобилием ляжет.
Почву покинет мотыга, лозу — резец винодела;
Крепкий пахарь волов вызовет из-под ига;
Больше не будет шерсть лживым мерещиться цветом,
Сам на лугах баран руно то в нежный румяный
Пурпур, то в шафраново-желтый тон окрасит;
Сами в алый цвет облекутся на пастбище агнцы.
«Мчитесь же,» Парки воззвали к своим веретенам,
согласно

Волю небесной судьбы изъявляя, «столетия эти!»
Пробило время — вступи же с почетом в свои
пределы,
Отпрыск богов, Юпитера гордый в грядущем
потомок!

Видишь, как куполом мощным ликующий мир
накренился —
Вся земля, и пространство морей, и глубокое небо!
Видишь, как сущее век наступающий счастьем
встречает!

Олег Юрьев

ПРОГУЛКИ ПРИ ПОЛОЙ ЛУНЕ

книга о деревьях, насекомых, женщинах
и, конечно, о луне

(первая дюжина)

ОТ АВТОРА

В нижеследующем сочинении вымышленные персонажи поставлены автором в действительные ситуации, а персонажи более или менее реальные — в абсолютно несуществовавшие положения.

Автор хотел бы попросить своих бывших, настоящих и будущих друзей, врагов и знакомых о понимании и прощении, если кому-либо из них покажется, что он и с п о л ь з о в а н. В конце концов все мы когда-нибудь умрем, и что перед этим фактом украденные другом, врагом или знакомым для литературного сочинения рука, грудь, манера смеяться или случай из жизни?

Я постарался по мере сил свободно распорядиться добычей: голову одной женщины смело навинчивал на тело другой, троих сводил к одному персонажу, кого четвертовал, кого удваивал... И врал, врал, врал, сколько хватало моей блудливой фантазии. Хотя писателей судят не по намерениям, а по результатам, прошу поверить, что намерения мои были совершенно невинны. Да и результатам, думаю, в невинности не откажешь.

Олег Юрьев

Замок Solitude близ Штутгарта, сентябрь 1992 г.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

У Цици выросли усишки, и он призралил их, разрозненные, радужным низом зрения. Глаза через это делались очень косые и покатые.

И Циця начинал глядеться лукавцем.

Маленький, реденький, ушастый — как бабушка в кофте, шел он по Невскому в войлочных ботиках со змейкой — мимо смерти мужьям, мимо кондитерской, мимо лавки художника, мимо даже военбибколлектора — шел он в журнал. Циця, знаете ли, был писатель.

Но что же я могу сделать, коли с самого что ни на есть нежного детства мои все знакомые — единственно что одни писатели, и никогда даже не знал я никаких женщин, за исключением поэтесс!

— У тебя была женщина литературный критик, — искоса сдотошничал Циця.

— Поссать не пернуть, как свадьба без гармошки, — объяснил я ему и остановился, потому что мы уже дошли до угла. «Прощай», — сказал я Цице, и он — накретенный к подтекающим ботам, поскакал, разъезжаясь, через дорогу, набитую коричневым снегом. Что касается меня, лично я на ту сторону никогда не перехожу, так как меня литературная жизнь не интересует. Интересует меня лишь только секс, да и он не очень.

Низко подошедшая к поверхности луна в своей едва заросшей лунке шевельнула опухлым на укусе кусом по-за удочкой шпица. Понизу неровно чернели семирамидины вороньи сады на напряженных цепях, улицы вокруг мигали.

Циця в мигающем полумраке, освещаемый лишь окном, с окованным по углам портфелем на кротких исполосованных коленях, сидел у пустого стола в начале

круглоплечей, сужающейся в совершенную тьму редакционной анфилады. Теперь он напал на эти усишки снизу, надувным, нежно-пупырчатым исподом нижней губы осязая их волосистость. По сквозьоконной лестнице — желто-красно-черной — сошел на дерматин антрацитный блеск, поелозил и втянулся в толсточерно-стеклянный кувшин, на мгновенье сделавшийся своим негативом.

Опять никого, даже ни секретарши! Циця, бедный, ходил сюда уж скоро четвертый годочек, но ни разу не застал ни единой души.

Боже, как я люблю статую Пржевальского! Этот пятнистый Пржевальский в генеральском снегу, этот верблюд с его жестко-стоячим чубчиком — как пожилой американский педераст, эта зимняя тяжесть в коленях, эта мусорная морось на губах... А какие разные бывают женщины! — Женщина, похожая сзади на море... Женщина, похожая на две змеи... Женщина — не женщина, а соединенные стати Америки... Женщины-вилки и женщины-ложки... Нахальные старушки с богемными замашками... Малохольные девочки, которые плачут на бегу... Но зимой ничего-ничего из этого и не видно и не слышно.

В дальнем конце сводчатого коридора зашебуршало. «Неужто ж... сотрудник», — помыслил Циця. Но се летела мышь. Круглогрудый, круглоглазый, круглоухий, в треугольном поколенном пальто из дождевой ткани, сейчас сухой — Циця и сам смахивал в известных замашках на летучую мышь и, как водится, боялся и не любил всякое на себя похожее. Но мышь была не летучая, просто летела. «Хорошая тема для новеллы», — подумал Циця, успокоясь.

Летела она сидя, грыжевато раздвинувши короткие задние лапы и перематывая возле стекшего крыжовен-

ного животика еще кратчайшими передними. Жестко и ровно отвешенный хвост — с прямоугольным шагом на конце, как у коловорота — правил планирующим ее шорохом. Мышь неярко, но трехцветно подсвечивалась из себя. Циця улыбнулся мыши.

«Зачем же это она мне сдалась?» — подумал я, как Наполеон.

Но не река уж, уж конечно. Уж не река — черная, с подзатопленными по бережкам желтыми биссектрисами; с мелкозубыми мостами; вольно веющая снизу свежим тленом; томно тлеющая сверху лунным облаком. Уж не она уж.

Но уж и не зима, уж конечно. Зима уж кончалась, повиснув черно-каплющим семидесятисемисосковым выменем на матице своего дворца. Я взошел на его мост.

Мышь неожиданно заложила вираж и все так же сидя, но ускоря шорох до свиста, завернула на Цицю.

Циця отдернулся, оборонно заслонясь портфелем. Стул его, треща ногами по линолеуму, поехал к окну. Мышь замедлилась, почти зависла, но не отставала. Ее краеугольное лицо шевелило желто-зелеными волосками у самых цициных глаз. «Как страшно!» — подумал Циця. — Отличная тема для новеллы». Мышь взмыла к потолку, к полурассосавшейся во тьме мифологической лепнине, затерялась в ней, и, когда Циця уже было почувствовал облегченную дурноту, с жужжанием пала всеми четырьмя лапами Цице на плешь. С тем же невозмутимым трехточечным лицом стала она драть цицину рано облетевшую макушку. Но зубья в ход пока еще не пускала. Циця выпучил слюни из вывернутого рта и весь покрылся крупными черными мурашками. «Совсем все рассаднила, — подумал он. — Замечательная тема для новеллы!»

«Замечательная тема Цице для новеллы, — подумал я. — Она ему сдалась, а на кой она ему сдалась?» Я думал о маленькой девушке, похожей на кожаный веник. Как она любила Эдиту Пьеху! Так я никого никогда не любил, даже девушку, похожую сзади на море, даже памятник Пржевальскому.

Стрелка лежала во мраке, лишь многорогатая колонна подсвечивалась крупноскачущим снегом, который пошел. А я за ним. По черногребенчатой плоскости, изъеденной сверху луной и снегом, а спящими рыбами и железными водорослями снизу. Поднимаясь полого над растопыривающейся рекою, пропустившей меж широких, окольцованных пальцев пунктирную набивку световой клетчатки — рваной городской ткани. И вот уже все это лишь огромная плоская развертка красно-желто-черного блеску и мелькания — семидесятисемисторонняя трассирующая перестрелка, вид сверху. Далеко же я зашел...

Циця еще раз дернулся назад, отпихивая воздух вздетыми полуразомкнутыми ботиками. Стул опрокинулся, и Циця с мышью на голове въехал в окно, как раз переменившее желтый на зеленый. «Слава Богу, окно до полу, — успел подумать Циця. — Не раскрою себе голову о батарее».

А дальше начиналось уже море.

МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

— А я дал в рот вчера, внучатой племяннице академика Эс... — сказал Ильюша Хмельницкий и, подумавши, уточнил: — На крыше...

Мы шли неизвестно почему в ногу — по Тверскому бульвару к Никитским воротам — по полому позвоночнику трухлявой черноты. Он придерживал оттопыренные полы пухлого кожаного плаща и с подскребом пинал закругленными передами ботинок листовенную ветошь и сушь, беззвучно пылящую; а я — в свою очередь — заворуженно следил за его коротконосым опущенным лицом, то желтеющим, то багровеющим, то зеленеющим — в зависимости от каденции регулировочного трехсложника, беззвучно просачивающегося сквозь сложный костяк бульвара.

— А я в ротевича... внучатой племяннице... академика Эс,— повторил однофамилец кровавого гетмана и вздохнул глубоко и глупо. Близорукая луна по-над бульваром мигнула рваным паутинным веком и восстановила свое ясное, но неотчетливое сияние. Вчера была она еще плоской, а сегодня уже явственно шаровидной, базедовой,— но...: подозрительно легкой и чистой — вероятно, пустотелой.

— Эс, академика...— в третий раз сказал Ильюша и наконец-то поднял ко мне волнистое свое лицо.

— В городе Горький ясные зорьки,— сказал я. — И ну и как?

— Ништяк,— серьезно кивнул Ильюша и снова наклонил лицо к шарканию наших поцарапанных копыт.

Я знал, что его мать, простодушно-надменная и нелепо-добросердечная женщина с бородавкой, умерла; что через два года умрет и огромный, пузастый отец; через три — жена бросит и навсегда отнимет ребенка; а через пять — будет он, Ильюша, сидеть в мокрой раковине автомашины, втягивающей в себя весь окрестный электрический гуд, и недвижимо смотреть в сверкающую трехцветную ночь бесконечно пустой новоанг-

лийской улицы. Его губы шевелятся, но я не слышу, что он говорит.

Пока, однако же, от Никитских ему дальше по кольцу, к Арбату, а мне направо, мимо круглостенной крепостцы, где держали на гардэ прокуренного сутулого дедка, прошедшего в ферзи («Скажите, вы действительно Горький?» — спросила восторженная дама. «Можете лизнуть», — величественно ответил великий писатель), мимо разграфленного прожекторами садика с толстым памятником — к дому литераторов. У меня, видите ли, имелось там свидание с девушкой, похожей сзади на море.

Она была в белом платье и уже смутно светилась у входа марлевым облаком.

— Ты как сестра милосердия — все с себя раненым отдала и осталась в одной марле, — сказал я, подходя. И пахло от нее чем-то антисептическим — неуловимо, тонко и рассеянно.

— Жары какие, — сказала девушка, любительница гальванизированного московского выговора. И открыла рот, как рыба.

Буфетный синий в прожилках воздух дрожал от одновременного вдохновенного ору шести десятков мужчин. Обволосенные лица надувались, краснелись тугими корнями, замусоленные лбы клонились к середкам столов, беззвучно падали на пол рюмочки-ложечки.

Девушка моя, выдвинув вперед шею и улыбаясь внешними углами узких глаз, потряхивала короткой бело-рыжей стрижкой и вся озиралась.

— Свободно? — спросила она у чуба, окунувшегося в водку, как ивушка.

Чуб дернулся, глянул сперва на нее, потом на меня и — с завистливостью обладателя светлой бородки медленно сморгнул. Она уселась, расставив ноги под оседающей юбкой.

Разговаривать было невозможно, как на взлетной полосе — и так же уже ненужно.

Чуб опять было окунулся, но вдруг вскинулся и настороженно глянул назад. Звуковой водопад сложился внезапно в осмысленное слово — как шрифт типографский, что на улице лег «Илиадой»: пять дюжин обглаженных, обложенных языков синхронно изронили — каждый к своему резону: «...БЛЯДЬ...» и в зале сделалась тишина — только и слышно было, как я звякаю ложечкой в кофе. Тишина провисела с секунду, затем сорвалась. Девушка засмеялась еще раз и оглянулась.

«Ты кого ищешь?» — спросил я. «Никого», — и она поглядела на меня честно.

Голые, отчетливые от пястей до плеч руки, глубокие ключицы, заостренные груди с лежащими сосками под прямым корсажем... Она почесала локоть, где осталось несколько кривых белых, затем покрасневших, затем исчезших полос. «Чего молчишь? Рассказал бы чего-нибудь девушке!» — крикнула она и схватила себя правой ладонью за шею. «ЧТО?» — «Рассказал бы чего-нибудь, сидишь, как и... не кавалер...»

«Нет, что рассказывать?» Она перегнулась через столик и вдыхая смешок, сказала: «Ну,.. какая я красивая...» (Груди ее под марлей стали треугольными и царапнули кончиками пластик столешницы...)

— Мне нравятся русские женщины, потому что у них волосы подмышками.

Она произвольно сделала руку по шву, а другую схватила за прижатое плечо. Потом расслабилась, развернулась и рассмеялась: «Сволочь». Откинулась на спинку стула, сцепила над головой прямые плавные руки, вывернув наружу показательные синевато-розовые вздутия в подмышечных вьемах. Встала, отодвинув задницей стул, и хлопнула с размаху обеими ладонями

по лядвиям, полным молока и меда: «Пошли. Начинается. А с кем бы ты пошел, кабы я тебя не *захараводила?*»

Если бы она меня не *захараводила*, пошел бы я с Ильюшей Хмельницким, однофамильцем Маросейки, или один.— «Это была судьба. Как сумасшедший с бритвою в руке».

В длинном зале оказалось нелюдно, но душно. Девушка сидела, как дама, выпятив подбородок, вздрагивая рукой на подлокотнике и кося смеющимся глазом. С эстрады что-то бубнили, то вдруг вскрикивали: то скорее, то медленнее; то выше, то ниже; — то поэтовым тенором, то поэтессиным басом. Но, слава Богу, из нашего угла видно ничего не было: все загораживал горой какой-то хтонический великан с непристойно декольтированным затылком. Или, скажем вежливее (хотя с научной точки зрения это и абсурд; но в новейшей мифологии...—), — культурный герой.

Наши локти соскальзывали с одного на двоих покато-го подлокотника, шлепались на колени и возвращались к продолговатому прохладному касанию.

Она прохладной была, эта девушка, надо отдать ей должное — что было то было.

На съемной квартире у невеселой капитанской вдовы ждал меня Ильюша Хмельницкий, несносный друг и товарищ.

— Ну как,— спросил он, втягивая двумя работающими щечными воронками срочно пепеляющуюся сигаретку.— Трахнул?

Вывернувшись губами пошевеливая, навывускал невообразимого количества дыму, впрочем сейчас же затянутого ситцевой медузой торшера.

— Это еще кто кого.

— Какая к хуям разница,— сказал Ильюша филосо-

фически и перекинул на кровать прямые, круглые, безволосые ноги, которыми гордился.

И действительно, никакой разницы не было.

Хотя у корабля московской ночи был свой дифферент. Он заваливался на нос, а парижский залегает на корму, а нью-йоркский — уже давно стоит носом в разлинованное небо.

А Иерусалим? — нет у него ночного корабля, только дневной. В его ночи ты плывешь сам, вверх, один из огней, дрожащих в недвижных волнах.

Но сегодня, когда Москва затонула, а Петербург сгорел, все это уже совсем неважно.

ПИЦУНДСКИЙ РАССКАЗ

Слева поблескивал негативом кроссворда дом творчества журналистов, справа обозначался разрозненным созвездием подъемного крана дом творчества КГБ. Спереди чернело море. Море было похоже на ежевику.

Целыми днями до мгновенно падающего темна я разговаривал лишь с осами — одни они из всех насекомых знают кое-что по-русски. Однако же и разговор складывался несложный: «Уходи, пожалуйста. Окно вот же...» (С каких пор и как стал я с осами *на ты*, и по сей день не знаю, но так уж оно случилось, и они, кажется, возражают не очень). Оса — своя собственная сиамская близница — откруживала полтора ноющих окоченелых виточка у деревенеющего моего лица (полтора же оборота узкой, дрожащей, ледяной и вместе жгучей мокрости чувствовал я вкруг сердца) и благодарно-молча уворачивалась в верхний правый угол форточки. Соль с сердца

испарялась через спинную кожу, и делалось холодно и потно. Я притискивал ляжкой балконную дверь, и уже не слышно было ни электрического перецока искусно скрытых цикад, не распознаваемых при встрече, ни совокупного перетреска пишущих машинок со всех двенадцати этажей, ни отдельным слоем поверху наложенной слежалой тишины, сквозь которую алой точкой на белых усах беззвучно шагал самолет. Но я знал, что стопка тишины сейчас удвоится в высоте — все машинки враз лязгнут единственным железным локтем и замолкнут враз — оттого что уже без десяти семь: *ужин*.

Фасольной сиреневой слизью из ушастого казана я залил донце тарелки и пошел с нею, волнующейся, в вытянутых руках, медлительно виражируя меж скрипенья ножей, скрежетанья вилок, наведенья далеко отведенными локтями ложек на подкованные рты, сейчас озабоченно раскрытые — в самый темный заворот столовой, за расписную под потное дерево четырехгранную тумбу, где поджидали меня пакетное пюре с желтой лужицей в кратере и татарская писательница Лиля. «Не ешь *это*», — и Лиля конспиративно катанула по-над щечной дугой свой черный закапанный зрачок из угла в угол двугольного глаза. Гига чачи принес, и качапури. После ужина посидим». Она воспитанно поцеловала платочек и сунула его за черный, шелково блестящий, плоский корсаж. Шестеро ее малых деток — Марина, Аня, Боря, Юсуфик, Булатик и Андрюша — молча бежали вокруг стола, сливаясь в горячий окружной ветер, в слитное и смутное мелькание смуглых коленок, белых платиц и черных волос.

— Когда мы тут трахаемся, мы стаскиваем с кровати матрас за ушки и кладем на пол, — втолковывала мне Лиля местные свчаи и обычаи. — *Потом*, но обяза-

тельно этой же ночью, писатель должен позвонить писательнице в ее номер и поблагодарить.

— За что? — спросил я.

— Как за что? — удивилась Лиля.— За сюжет. Но только *словами и выражениями* нельзя пользоваться — я тут одному из Ленинграда все рассказывала, рассказывала, всю свою жизнь, — а он, вижу, сидит на полу, книжечку на живот положил и пишет в темноте. Ах ты сволочь, говорю, — я же тоже писатель, хоть и республиканский...

Мы стояли ежась у самого невидимого моря. Только белая лесенка луны доходила почти до наших ног. Только черный шар лилиной головы и алый бант у нее на темени были чернее ордынских зрачков и ночной темени. Я погладил ее влажные гладкие зубы, гвардейские плечи, маленькую подспущенную грудь, исщипанный родами живот... — «Лучше зря не трудись. Ничего не получится. Уже два года я люблю только Аллена Гинзберга».

И действительно — мало что получилось.

Утром опять, конечно, прилетела оса. Широко расставляя ноги, она ходила туда-сюда по окну, неловко поворачивая свою замороженную талию, собирая золоченую пыль на упорное низколобое лицо. «Через раму ползи, — сказал я ей, но она недовольно-утробно рыкнула и снова завозила грязными длинными крыльями по стеклу.— Что ты мне разводишь тут тигровую мазь, давай тогда облетай...»

Но она еще с минуту притворялась, что не слышит, потом замахала крыльями, загудела и бочком вывалилась за окно. Осы не переносят чрезмерной грубости, но не обращают внимания на легкую фамильярность.

Вслед за ней и я вышел в развевающихся трусах на балкон. Далеко внизу во дворе расселись по художе-

ственно подкопченным решетчатым скамеечкам окрестные автохтоны — половина чурки, половина урки — человек сорок, и смотрели, как Лиля, похожая в своей тесной мягкой фольге на две змеи, вместе с детьми занимается аэробикой. Этакий пчелиный танец, как посмотришь с голодным вниманием с одиннадцатого этажа, и вообще, Лилия была в межсезонье пицундской царицей. Рабочие пчелки с квадратными абхазскими бакенбардами несли ей компотные банки серо-виноградной сивухи, и гигантские пустотелые лавашы, и крупные темно-мраморные сколки бастурмы, и рыхлый сыр, и очерствелые сердечные мышцы гранатов...; сивоухие трутни тенористо гудели и толклись за ее спиной своими обложенными синей тренировочной шерстью животами...; детву ее пестовали усатые шмелихи и сухопарые шершеневки в вековечном побровно-поскульном трауре. Весь двенадцатиэтажный улей жил ее мановением, сторожил движение ее рослой ноги, сейчас же взметывающее весь пыльный рой — уж тут на халяву не побортничаешь.

Наискосок осыпался дождик. «Дети, по номерам!» — тоненько прокричала Лилия на тему судьбы. Дети наскоро рассчитались и засемили под крышу, а ее голос поднялся по десяти ступеням поперечно располосованной солнцем продольной воды и осел, онемело покалывая, у меня на переносице. Я вытер лицо, поглядел сквозь пальцы на вызолоченные волоски дождя и пошел спать.

Море гоняло по себе большие колеса из колючей проволоки. Колеса доезжали до склизких мохнатых свай волнореза и — запутавшись, сломавшись, смявшись — падали. У основания ближайшей сваи лежал по пояс в воде свинцовый поросенок с раскрытыми безумными глазами. Над кромкой пляжа металась длинная ромбы птиц, медленно переламываясь по малой диагонали.

На хороший закат, судя по всему, рассчитывать не приходилось.

На губах у меня был вкус пота, и прогорклого дикого меда, и осинового грязного воска. Мгновенно стемнело. Ослепительная луна вынырнула из моря, стряхивая колючие клочья. У меня за спиной тихо засмеялись.

ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

Кабы вы только знали, как трудно ночью в отрубленной от тока квартире точно угодить навесом — даже навести по звуку — в гулкую дырочку на узкой невидимой ступеньке: — в убогое начало пустотелого стеблекорня свинченной...— нет, срезанной! нет, сорванной! нет, срубленной! нет — сбитой, свороченной и сволоченной — некогда недвижно здесь плившей белой — (белой?) — толстофаянсовой кувшинки! Кабы вы знали, как трещит и пляшет моча на цементе, рассевая невидимую горячую пыль? И как — наконец-то попавши — срывается она с жестяным облегченно-сосредоточенным бу-бу-бу в безвоздушную внутренность Земли, в Елисейские Поля всех родов своих и племен от начала мочеиспускания.

Марьина Роща, Марьина Роща...— хасидские свечи медленно пляшущих тополей, воздух в медленно плывущих волосках, медленно облизанная бедность, слегка аптечный запах усохшей малины... Я запал в расселину твоего навеки расселённого дома, только оттого лишь, что капитанская вдова оказалась неожиданно солдатской матерью. Она все ездила *в часть* с кулками, а затем привезла на пыльном такси сыночку — черново-

лосого, наволосо стриженного косой машинкой, по-красноармейски накосо глядящего в сторону и вниз. Сыночка отслужил два года и вернулся, а мы с Ильюшей Хмельницким, перечитав за три московских наезда по четыре романа Эриха Марии Ремарка, пошли на фиг искать углы. Находчивый Ильюша нашел первый — у жены, причем своей, хотя и будущей, хотя и будущей бывшей. Меня же, вышло, поджидала Марьяна Роща.

Здесь мне зажилось веселее, чем даже у удмуртки.

Удмуртка была кандидат наук, имела крепкие красноватые скулы на ногах и пила горькую. Красный дом ее в оны годы выложили из обветренного кладбищенского кирпича пленные фрицы (видать, попались бессознательные сочувственники баден-вюртембергского рококо, курицыны дети). Сразу же за последней его наугольной колонной начиналась безграничная степь, куда уходило Варшавское шоссе и откуда приходил любовник Володя.

Любовник Володя растирал тяжкими руками свое медленно краснеющее лицо с отдаленным намеком на народную хитрожопинку и ругал удмуртку татаркой и фальшивоминетчицей. Потом они заходили в комнату, а я, лежа в прихожей на рыжем деревенском коврикe с фаллической символикой, слушал, как они неторопливо дерутся. В середине ночи он уходил, вежливо переступив через меня бензинными ногами, а удмуртка в длинной ночной рубашке и в кружавчатой шали на маленьких, мускулистых, побитых плечах шла, пожурчав над моим ухом, пить на кухню чай.

А вот теперь еще Борис Понизовский, абстракционист жизни, заселил меня в Марьяну Рощу

Какать я ездил на Рижский вокзал, или же на Белорусский; — так это мне обусловил первоскваттер Миша Жвавый — признанный мастер подпольного театра

теней, иной раз упражнявшийся здесь в показании художественной фи́ги китайскому фонарю. «Старик, — сказал он мне при вручении ключа, — если б не уважение к гениальному Борису, я бы вас, конечно, не пустил в свою творческую мастерскую. Но какать ездите, пожалуйста, на Рижский вокзал. Или уж на Белорусский, как захотите. Дом отключен, и если пронюхают... — и он пошевелил членистоного всеми двенадцатью своими волшебными пальцами: — Лично я предпочитаю Рижский, он как-то уютнее». И вот, покуда счастливчик Хмельницкий и его будущая неверная жена в свежезданной и сданной кремовой крепости на Большой Грузинской кушали чай «Бодрость» с печеньями «Юбилейное», я, аки тать в нощи, крался по низкорослой улочке мимо страшенных пустоглазых троллейбусов, криво осевших на обочине; через хрустящий черным стеклом пустырь, фосфорно светящийся под узкой луной крупноколотым унита́зным фаянсом; и: по невидимой лестнице — три спички пролет — на самый что ни на есть верх.

Зажмурив глаза и щупая воздух руками, я пробирался в комнату, снимал нога об ногу ботинки и, наскоро помолившись Богу, укладывался на сдвинутые ящики, укрытые волосатым прессованностружечным щитом. Небрежно на нем нарисованный Буратино зловеще высвечивался из мрака своим слабо- и неровнозеленоватым контуром. Я клал голову на скатанную куртку и засыпал, засыпаемый меловой пылью с потолка, шевелящегося при каждом подземном содрогании. Круглые коричневые мышцы выходили изучить мою свешенную на пол руку. Она была взвешена и найдена легкой.

Мыться же ездил я на метро и двумя автобусами за ВДНХ, в *моссветовский городок*. Всемогущим именем того же гениального Бориса отворялась некрашенная дверь шлакоблока — родная сестрица моего спального щита с Буратино, а за ней — тишина, чайник, меланхо-

лическая девушка, похожая на кенгуру, день-деньской залепляет из соленого теста коровушек, козушек и круглобородых дударей, закаляет их в духовке, раскрашивает алыми и белыми розами и — по воскресеньям — бережно обвернув зернистой рогожей, отвозит в Измайловский парк, на торжище.

Я стоял под желтым душем и с походом вжимал чмокающую губку в свое жалостно опустевшее тело. «Скоро вы?» — это тяжело прищепывала в санузел геральдическая девушка — выплеснуть в свой благословенный цветок какой-то серо-дымящийся клейстер и, верно, приветливо-насмешливо выскалить кроличьи зубы на мою уже час неподвижно темнеющуюся сквозь потно-синий полиэтилен фигуру — затененное кучевое облако в душном душевом треске: «Чайник давно вскипши, и ехать мне пора... Работа такая, к бесу... — ни воскресенья, ни вознесенья!»

Я помогал ей доволочь кули с сахарной пластикой до подряженного в соседней булочной кули — сонного корейца на грузовом мотороллере с почти что в данном случае честной надписью «Хлеб», отчихивал выхлоп и садился в обратный автобус.

Размыленная невидимыми облаками марьянорощинская луна просачивалась волнистым лучом сквозь оконный угол, очищенный приотклеившейся газетой «Литература и жизнь». В кривом треугольнике на стене задерганно кружились позаброшенные Мишей Жвавым тени. В официальной обстановке он их принципиально не отбрасывал. От скромных плэйбоевских зайчиков ранней юности до неконфигуративных композиций позднего периода, все они медленными рывками двигались, проскакивая друг сквозь друга, по сложной очереди то исчезая во мраке, то возвращаясь в свет. Я засыпал, и луна на цыпочках уходила.

ПЯТЫЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Я был разврата покорный ученик. Учительницу мою, естественно, звали Ларисой. Их всех зовут или Ларисой, или Аллой. Я поехал к ней на семьдесят четвертом автобусе в Купчино. За боковым стеклом расклешенные ноги фонарей сигналили назад, туда же отматывались неоновые надписи и полупогасшие витрины магазинов — только что начисто опустевших, подмываемых техничками (взятые в раскадровочной протяженности, с синими и коричневыми, высоко поднятыми муравьиными задницами, они напоминали о бесконечной египетской очереди к невидимому фараону), и освещенные витрины морожениц — засиженных печальными коренастыми девушками в разноцветных тусклых шапочках. А также и отражалось противоположное окно автобуса с наклоненными и сокращенными фонарями, витринами и надписями (вполне понятно, и обратно вполне понятными). А между двумя сторонами все реже мелькающей Лиговки неподвижно висело в стекле мое дикое прозрачное лицо — волосы, торчащие крупными клочьями вверх и вперед, кривые очки с двумя скатанными по всему автобусу желтыми электрическими шариками и стоящий колом капюшон вздутой *шапировки*. Ко всему к этому еще бы сюда цветочки, которые я долго размышлял брать или не брать. С одной стороны, вроде бы надо, чтобы обозначить намеренья, а с другой — глупо тащить веник, если знакомство, хоть и рваное, но — с двенадцати лет, и был даже топтан ее сильными тринадцатилетними ногами в краеведческом кружке дворца пионеров и школьников, на египетском орнаменте его восково сияющего наборного паркета.

«Вот, нес тебе цветочки, а в автобусе такая давка, что остался только целлофан», — сказал я жалостливо и

предъявил домашнюю заготовку. Великодушные Лары не переборливы на жертвы — она махнула рукой и, все время оборачиваясь и что-то говоря, повела к себе в светелку.

Собственно, я приехал сватом. Дело в том, что Циця написал *«ЛИСЬМО ЖЕНЕ»*. Начиналось оно так: «Дорогой Жан!» Это произведение очень одобрил Прохор Самуилович, человек, равномерно бородатый со всех сторон, так что походил бы на подсолнух, кабы у подсолнуха поголовная его борода была не желтой, а сивой, а в серединке вместо супрематистской мозаики «Черный круг» находилось маленькое бледное лицо с неуверенно-жульническими глазиками. «Ловко вы ему», — сказал он Цице, отводя глазики. «Кому?» — «Да уж понятно кому, кому же еще...» Циця возгордился и решил расстаться с девственностью.

Я сидел на квадратной кровати и пил чай с пирожным «Адмиралтейское» (почему-то отказавшись от родительской рябины на коньяке) и смотрел, как Лара — веселая, светловолосая, хвостатая (в тесных темно-малиновой водолазке и поколенной шерстяной юбке неизбежно наводящая на философические размышления о том, *кто голенаст, а кто бедерчат*) — медленно ходит по вагонной комнате, по половичной елочке меж столом и кроватью. Она безнадежно смешивала на своем коротком жизнерадостном языке «р» и «л», а также суживала и съезживала полногубые гласные «о», «у», «а» до какого-то единственного йотированного звука, и все говорила о Бродском, о Бродском, о Бродском... Толстая усталая бабочка, треща сливающимися в неотчетливое полушарие крыльями, на лапках и усиках ползла вверх по стене.

Лара устала ходить и стала говорить о Бродском сидя. Я вспомнил долг перед Цицей и положил ей руку на ближний бок. Она договорила о Бродском и спросила: «Ты чего?» Я отпустил свое бедное тело на волю и начал

оползать на нее, держась другой рукой за широкое колено. Никакого косноязычья за веселыми ее губами я не заметил. «Поиграем в доктора?» — сказал я в передохе. Лара не засмеялась.

По пояс голая, с вылупившимися шероховатыми сосками на гладких грудях, с приподнятыми могучими плечами заведенных мне за спину рук, она полулежала на вылезшей из-под покрывала подушке. Пуговица юбки глубоко ушла в живот, и я никак не мог ее уцепить. Зашел снизу к покатоному паху, обтянутому до половины скользким и поскрипывающим на ногте, и потянул за резиночку. Поверх юбки она положила с нажимом руку на мою: «Сегодня я не могу». — «Почему?» — спросил я идиотически, барахтая пальцами по вискозе. «Не могу — не понимаешь, что ли?» Я медленно спустил руку по мягким бедрам и упрятал ладонь в сведенные подколенные вьемы.

Лара села, прыгнув удлинившимися, потом округлившимися, потом осевшими грудями, и решительно-рассудительно пробормотала со вздохом, адресуясь куда-то в сторону и вверх: «Единственное, что я могу сделать...»

Она выключила торшер, и комната наполнилась какими-то белыми дрожащими полосами из окна. Стало в два раза тише. Я лежал, опершись на локти и приставя затылок к стене, и испуганно смотрел на ее мерцающее, увеличенное, серьезное лицо. Бабочка надо мной вдруг сорвалась и громко стрекоча полетела во всех направлениях. Потом села на пол и пошла, шурша, как множество бумажек.

А сосредоточенно-светящаяся Лара пригладила уши, наклонилась, стемнев, и одним движением растворила мне штаны. Потом достала из прорехи трусов то, что в

них давно толкалось, и слизнула его губами, как лошадь кусочек хлеба с солью. И, зажав, стала ртом двигать взад-вперед верхнюю кожу, потом помогать рту рукой. Я уперся в стену лопатками и дотянулся кончиками пальцев до поскребывающих по моим вельветовым коленям сосков. Она недовольно мотнула головой — я опять откинулся.

Несколько раз она останавливалась, чтобы подышать. Вставала на пол на колени и ложилась на кровати изогнувшись. Качалась надо мной на четвереньках, как большая трехголовая собака. А я держал ее за круглый сухой затылок и за маленькие уши и вслушивался внутрь себя. Там, покалывая, кружилось время. Потом оно стало останавливаться, а Лара, наоборот, торопиться. Она все сильнее и чаще двигала ртом и рукой. Время встало, подрагивая. Потом с силой и болью длинно плеснуло в обратную сторону. Лара отняла руку и рот. Я тихо закричал. Она вернула руку — я еще раз закричал. Что-то в этом крике удивило божественно-чуткую Лару, она зажгла свет. Ее ладонь была вся в белом и красном; красные же, быстро темнеющие пятна оказались на розовом, и розовым тисненном, покрывале. Почти что уже не болело. Я осторожно залупил: там свисала какая-то короткая мясная ниточка. «Какая-то штука оборвалась», — сказал я, перхнув, вынул из-под подушки батон ваты и стал обкладывать ниточку крошечными жесткими клочками — не идти же было в ванную через комнату Лариных родителей, пьющих чай.

Из дому я позвонил Цице и сказал: «Знаешь ли ты, Цица, что женщины пахнут сардинками? Лично мне уже переучиваться трудно, но тебе я горячо советую — сделайся-ка ты лучше гомосексуалистом». — «Да? — несколько озадаченно спросил Цица. — Пожалуй что надо бы это дело обмозговать».

ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

Из животных я не люблю больше всего эрдель-терьеров, из птиц — пеночек, а из насекомых — мандавошек.

Деревья я люблю все, особенно оливы из тусклого, слегка зеленоватого олова, изредка стоящие просторными каре вдоль иерусалимских дорог.

Кинешму предпочитаю всем иным известным мне городам — за Катеринин откос и вообще Волгу.

А самой любимой моей женщиной является еврейская женщина из Симферополя Галя Голобородько.

Точнее, являлась.

У Гали Голобородько не только бородачко было голо, но и все остальное то и дело высвечивалось, высовывалось, вывертывалось из разметывающихся, расстегивающихся, разворачивающихся одежд. Особенно же я почитал правую лямочку, все соскальзывающую и соскальзывающую с узкого плеча (ужасное подозренье — неужто ж оно было чуточку ниже своего напарника?) и все увлекающую за собой правую верхнюю четверть ослепительно-розовой блузки. Голая грудь Гали Голобородько не терпит легковесностей в тоне изложения — такие груди, вероятно, теперь уже не делаются; если одним словом, то была грудь *корольком*, но это лишь если одним — игривым, скудозначным, плодово-ягодным словом. Цилиндрический короткий сосок Гали Голобородько — коричневым, тонко-морщинистый, неожиданно старый и страшный — я видел всего лишь раз, но никогда его не забуду. Ни соска, ни раза.

Самым трогательным в ее лице было умно-ироническое выражение прищуренных серо-зеленых глаз (серый был умным, а зеленый ироническим), и из-за него что-то тленное ощущалось в чистом сухом дыхании приоткрытого рта, что-то мумическое в легкой многослойной

одежде, что-то искусственно-моложавое во всей ее загорелой свежести.

На кусточках у заочного деканата еще качались кое-где белые, наполненные взрывчатой пылью шарики снежных ягод, по черным лужам плыли твердые маленькие листья, бульвар понизу уже начинал зарастать табачным мелевом, была осень, а Гали Голобородько не было. И никогда-никогда уже не будет: она осталась в Симферополе.

Скоро бульварное кольцо превратится в заплеванную анфиладу вороньих коммунальных гнезд и совсем окажется по ту сторону принципа насаждения, и мы с Ильешей Хмельницким зашагаем торопливо и молча по горбатуму, ослепленному Рождественскому, и по плоскому, немигающему Цветному, и по вогнутому, страдающему трехтактным тиком Тверскому как будто без ботинок, лишь в одних тяжелых и мокрых носках, и мокрая треугольная луна будет неподвижно стоять высоко над нами, в невидимой вороньей прорехе...

Но пока я еще ничего об этом не знал и сидел на скамеечке рядом с красноколенной стайкой возбужденных украинок, только что официально принятых в русские поэтессы. Кстати, трудно сказать, отчего все-ж-таки не приняли Галю Голобородько. Шансы ее были неплохи даже сравнительно с веселой шарнирной системой длинных изогнутых костей из города Киева, которая, значительно округляя крохотные негритянские губы, опять сейчас — так же как и летом — упорно уверяла товарок по творчеству, что *руководитель семинара* (они его ласково называли Цыпой) из всех лирических поз пуще всего уважает 69. «Я тоже», — сказал я робко с соседней скамейки, но от меня, естественно, отмахнулись: «Погоди, — процедила с великолепной крестьян-

ской надменностью огромная тетка по фамилии Велькыйчоловик: «О любви будем потом думать — сейчас трэба *введение в языкознание* здаты». Но, может, охапка половецких сабель и хитрила, и на самом деле Цыпа предпочитал какую-нибудь иную позитуру, или уже не предпочитал никакой, поскольку Галя Голобородько таки вернулась (вероятнее всего, несолоно хлебавши) в свой родной город Симферополь, к своему родному мужу, однокласснику и прапорщику Голобородько, давшему ей всего лишь одну попытку вхождения в большую литературу, и то лишь только под блефовой угрозой моментального бракоразвода. В отличие от гологогрудой мадам Велькыйчоловик, приезжавшей в осьмнадцатый раз или гологоловой шарнирной девушки из Киева, проравшейся на четвертый, бедная гологрудая Галя — как она простодушно рассказала некоей якобы случайной соседке в душевой — располагала одной-единственной в жизни возможностью вырваться из душной мещанской атмосферы части, *где злая свекровь пила ее кровь*, пользуясь строчкой из ее же собственной сташестидесятисемистишной народной баллады «Пленная душа». Прекрасная русская душа Гали Голобородько была заточена в красивом, но душном еврейском теле, а то в свою очередь, находилось под надзорным бдением хорошенького, но бездуховненького украинскенького хлопчика — такова вкратце была коллизия этого прошедшего *творческий конкурс* сочинения.

Да, но лялочка, лялочка...

Собственно, мне ничего и не светило. Как я ни топтался вокруг, запуская взоры, как ни кружился за нею по Пушкинской площади на стеклянной московской жаре, как ни подсылал знакомую лесбиянку подсматривать за ее строением в общежитском душе, как ни изыскивал моменты блеснуть своей лучшей, привезенной на этот

специальный случай шуточкой «Я смогу, я все на свете смогу, если ты со мною странна», странна со мною Галя Голобородько не делалась. Она любила только русскую поэзию и белокурого украинского мужа, мускулистого, как кукуруза, а никак не угрюмо-болтливых еврейских драматургов в засыпанных какой-то дрянью очках.

И так ей и надо, суке, что недобрала на сочинении пол-балла! Нехай теперь до окончания времен варит своему прапорщику кровавый борщ с уксусом и маслинкой и до века глядится в сметанные расплзающиеся бельма!

Москва вдруг вся разом неожиданно истемнела, встал ливень, такой сильный, что, казалось, шел не вниз, а вверх. Цыпины поэтессы матюкнулись по хроматической гамме как раз вниз — спускаясь, как ни странно, от Велькийчоловик до басистых киевских лиан — и, со схороненными в трусах рукописями, разбежались. Деревья в одно мгновение стали стальными, потом тоже куда-то ушли. Один лишь я сидел в задымленном дождем дворе, преданный, как Огарев. Но это уже совсем другой московский рассказ.

Вода поднималась по моему лицу, шевеля в углах лба волосы, заползая под веки и в ноздри, затекала в штанины, в рукава, в сердце. Я понимал, что никогда больше всего этого не увижу, и ждал.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Мне выдали красную повязку и свисток. Милиционер, похожий на грузина — да он и был грузин — без акцента, но со сдержанной страстью бубнил: «От сада

«Олимпия» — к распивочной на углу Пятой Красноармейской, посмотрите, не распивают ли там. А затем...»

Я сидел у зарешеченного окна на теплой изрезанной лавке и читал «Книгу задержаний». В ней было написано: «17.30. Задержанный Баймухаметов Ш. Г., 1954 г. р. Занимался в саду «Олимпия» онанизмом (дрочил). Старший дружины Здренко», и — другим почерком, лиловым, наискосок — анонимная загадочная надпись: «Приведен в исполнение».

— А если преступление какое, грабят кого или насилят — чо делать? — перебила грузная тетенька в изумрудном пальто колоколом, желтоволосая, постриженная под горшок.

— У-бе-гать, — твердо ответил милиционер. Тетенька вздохнула и кроткими толстыми ногами затолкала под стул свои четыре сумки. Армянин Иванов (с неровным длинным лицом, по которому от тугого веника волос до извилистого подбородка безостановочно сбегали грачиные глаза) морковными руками плотно потер себя по таким же ушам. Литовка Сваюна надела розовую пуховую шапочку с трогательно свалаявшимися темными перушками. Еврей я, притискивая плечо щекой, завязал повязку на правом рукаве, — и мы пошли.

В Угловом переулке стоял с прихвостнями дождь углом. Тетенька, накрыв голову полиэтиленовой мутной треуголкой, коротко запрыгала по мелко взрывчатым лужам во Фрунзенский универмаг, похожий на гигантский полуразобраный ящик гранат-лимонок. Скоро она и вовсе исчезла зеленым пятном в косо подскакивающем на месте крупнокапельном облаке, где в каждой отдельно темнеющей капле тихо разгорался на понуром стебле желтый фонарик, — а мы все еще не выходили из подъезда. «Ну, берем две — или четыре?» — спросил армянин Иванов. «А не много?» — усомнился еврей я. «Сколько я тебя знаю, ты всегда говоришь, что много, а

потом всегда оказывается, что мало», — траги-иронический глядя в сторону и вверх, сказал Иванов. «На меня не рассчитывайте», — сказала еле уловимо шепелявящая Сваюна. «Тогда ты пойдешь», — сказал я, растаскивая на правом рукаве красный бантик. — «Сам пойдешь».

Ближайший магазин был на углу Углового и Московского. Маша холщовой сумкой и высоко поднимая длинные худые ноги, Иванов побежал по белым и малиновым квадратикам кафельного пола — точнее, по неравномерно-черной, стекающей в кляксы воде, — мимо субмарин голубой колбасы и ледокольных носов краснокожего сыра, мимо только что изнасилованных розовых куриц, мимо чего-то пестро-серого — сухого и мелко-го — насыпанного в наклоненные цилиндры бакалейных склянок — к «Сокам. Водам. Винам. Шампанским». Иванов спешил, так как до закрытия винных отделов оставалось семнадцать минут, а ему надо еще было сравнить наличествующее с ассортиментом на углу Шестой Красноармейской и Московского, на углу Восьмой Красноармейской и Московского же и на Измайловском, а также в фирменном гастрономе «Стрела».

Помимо того, Иванов дополнительно спешил, так как нехорошо тянуло под ложечкой, поскольку я остался с литовкой Сваюной на едине и последнем полумарше тихой темнеющей лестницы, и, следовательно, мог ее трахнуть, приподняв сухую электрическую шубку вместе с клетчатым подолом шерстяного платья и приспустив матовые колготки и жесткие голубые трусики до мелко забрызганных двуугольных сапог, на что Иванов, признаться, рассчитывал сам.

«Какие же эти русские все-таки алкоголики», — думала Сваюна про нас с Ивановым, проходя по пустому кондитерскому отделу фирменного гастронома

«Стрела». Думала она по-русски, потому что никакого иного языка еще не знала, а только начала по молдавскому учебнику учить румынский. Ее широкие гладкие брови двигались, сопровождая серые зрачки по застекленным прилавкам — с одного тортика, обсыпанного мягким ореховым крошечком, на другой, обложенный листьями и лепестками из зеленого и розового мерзлого масла. Ее подбородок налезал на рот, где толчками вращался леденец. Тонкое в нежных морщинах горло изредка быстро сглатывало. Она улыбалась, вспоминая, как я положил ей в автобусе руку внутрь шубки на живот, и думала, что я, наверно, ласковый и неловкий, как нежный зверь, хоть и еврей, и что мне можно было бы дать, если бы завтра уже не приезжал Думитру; и что, интересно, ему сказала мамаша-сука; и что надо, пожалуй, оставить одну бутылку на завтра, но уж, конечно же, не портвейна, румыны не пьют портвейн, но с другой стороны, сам что-нибудь приволочет из своей сраной Плоешти, а ей надо выбрать поскорее между вот этим, обсыпанным, и этим, с розочками, и пускай Иванов сердится сколько хочет, что она взяла только два флакона — они все-ж-таки не румыны, пить не умеют — нажрут, пойдут смеяться под дождем, попадутся дружинникам из другого учреждения, мент-гурзо напишет на работу, в лучшем случае отгул за сегодня аннулируют, а ей еще надо постирать, все убрать и помыться, особенно здесь, потому что Думитру приедет и сразу же начнет все время трахаться, и времени уже не будет.

Я медленно шел навстык дождю, пытаюсь к нему приспособиться боком, но проворачивался внутри долгополой нейлоновой куртки, присланной из Цюриха добрым доктором Шапиро пленному во Эдоме чаду Израилеву, и глубокий пристежной капюшон заслонял мне глаза. Оставалось идти прямо, но сильно наклоняясь и видя свет фонарей и светофоров разложено отраженным во

взмывленном блестящем асфальте. Однако проклятый капюшон стоял, как ложка, и тяжелая вода понабивалась в мои лобовые волосы и радужными сизыми сгустками заползала в очки. Вообще-то я люблю дождь в городе — он создает на улице тишину, но с другой стороны, как-то это выходит в результате чересчур мокро. Асфальт подо мной засиял и задымился белой полосой, а над нею, как дерево из белых искр, дрожал дождь. Я приложил лицо к холодной жирной витрине: и как раз из толпы, над которою косо торчали машущие руки с чеками, вытиснулся боком чернобровый мужчина в колленкоровой шляпе. В каждой руке он держал, пропустив темно-зеленые горла меж согнутых пальцев, по две прямоплечих бутылки — на белой наклейке три больших синих семерки, неслыханное везение. Я вздохнул и зашел в магазин. Пока подползала к кассе очередь, тревожно-радостно оглядывающаяся на пустеющие ящики (разоренные гнезда в крупнонарезанной соломе), я, вертя тонкогубый свисток в кармане, думал о том, что жена Иванова — Гаянэ, сокращенно Гайка, а литовка Сваюна — сокращенно Свайка, и как он между ними скачет, бедный, — как какой-то голенастый сложный реверс, похожий на кузнечика; и бывают ли кузнечики брюнетами; но рукава-то и штанины у них точно всегда слишком коротки, и скрепления скрипят и щелкают; а как им не скрипеть и не щелкать, после молдавского розового — по рубль восемьдесят семь, если я только не ошибаюсь, когда сейчас это через одиннадцать лет пишу в позднебарочном замке на окраине сжатого горами длинного немецкого города, а за моим окном ночь — смешанный свет луны и белых фонарей и зачесанное вниз дерево, похожее в грозу на белый беззвучный взрыв.

ПЯРНУССКИЙ РАССКАЗ

«...Отчего, интересно, дураки так любят Пастернака, а бляди — Цветаеву?»

— Миша, дайте, пожалуйста, прикурить,— попросила сутулая Зина, прижимая к губам судорожную руку с сигаретой «Таллин», наполовину торчащей из вяло скрюченного межпальчья.

Миша Архангельск, полный юноша, похожий лицом на белого песка, глянул на нее глиняными своими глазами и с анекдотически-еврейским акцентом участливо откликнулся: «От хуя прикуришь». Кстати, во всю последующую жизнь так он, бедный, и не избавился от сей принятой *в порядке стибалова* манеры общалова, и даже когда через пару лет (за финансово-экономические успехи изгнанный из одноименного института) сделался, к ужасу своих архангелогородских мамелэ и папелэ, водителем ленинградского троллейбуса № 10, объявлял он остановки не иначе как все с тою же неискоренимой интонацией: «А следующая остановка — Гостиный Двор?»

Подняв колени и чиркая через шершавое полосатое полотно ягодицами по ледяному песку, я тихо покачивался в расплзающемся шезлонге и глядел на Балтийское море. В сущности, это море глядело на меня, удобно расположенное в своем не полностью заполненном амфитеатре, и свет медленно гас, и только разбитая красная лампочка справа обозначала запасной выход, а белая дырочка посередине готова была дать свет на сцену, и море позевывало, поерзывало, пошуршивало, посмаркивалось и тихонечко уже начинало поплескивать, намекая, что пора бы, дескать, и начать. Что бы это такое показать ему сегодня? *Придается все, лишь тебе не дано примелькаться*, как сказал Ильюша Хмельницкий.

Само собой очевидно! — когда же это и где публика примелькивалась актерам? Она с самого начала на одно страшное, темное, слитное лицо.

Сутулая Зина плакала за моей спиной, как лось. Толстые девушки, шипя, утешали ее, худую. Миша Архангельск совсем заскучал. «Где Гриша Харьков, где Фима Киев, где Леша Баку, где люди? Где Бирюлька и Зародыш? — тоскливо думал он с анекдотически-еврейским акцентом. И где эти никейвы Регина и Жанна? Откуда набежала уже вся эта неполовозрелость, с которой я должен убивать свое бесценное лето?» Он пополоскал себя ладонями по джинсовой заднице и неслышно шаркая пошел к морю, навстречу покойному Захару Исаевичу Гольдбергу в белой панаме и покойному Алексею Максимовичу Гольдбергу в округлой «Спидоле». «Ты еще не слышал, Миша, что мой братишка опять выкинул?» — спросил Захар Исаевич. — «А что, он опять уже был в положении?»

Захар Исаевич поставил заикавшего Алексея Максимовича на передовую скамейку и цепко пожал Архангельску пластилиновую руку: «Как заслуженный конферансьё республики выражаю тебе, Миша, благодарность партии и правительства». Архангельск подхватил «Спидолу» за плоскую полукруглую ручку, и они пошли, беседуя, по краю закатного луча в сторону женского пляжа.

Женский пляж полтора часа уж как закончил работу, если считать это работой, и до утра утратил заповедный характер, но какая-то запоздавшая весталка, похожая на сборную пирамиду из уменьшающихся кругов, яростно протирала себе поперек натянутым до дрожи полотенчиком. Увидев Мишу и Гольдбергов, она пробормотала *Кур-рат* и — мелко переступая опрокинутыми (но цельными) пирамидами ног — переверотилась к ним

(не оставляя протираться) кучевыми облаками спины и задницы (в петлистых разводах, желтых и синих). Маленький ангел в замшевых штанишках, засевший за дюной под серо-серебристой волной высокой узкополосой травы, с подгребом задрыгал ногами (руки его были заняты граненым перламутровым биноклем) и не поворачиваясь прошептал шепотом: «Шура, Шура, иди скорее, тут у тетки пизда!..» Тонкошей Шура Шуман сидел к морю спиной и глядел недоенными глазами на уже зажегшиеся окна курзала. Он не хотел смотреть — он был старше и переживал все значительно острее. Но однако же медленно опрокинулся на спину, перекатился на живот, плавно мотнул головою, откидывая желто-серую челку с бровей, и вынул биноклик из расцарапанных маленьких рук.

В курзале собирались танцы. Женщины в кольчатых прическах и в тяжелых узорчатых платьях входили, празднично поблескивая ртами. Мужчины, оглядываясь, шли за ними. Баба Тася сидела расставив колени у колонны и надзирала, как бы кто без курортной книжки не пролез бы. Регине и Жанне и легендарному Грише Харьковцу это как-то в свое время удавалось, но не Ильюше же Хмельницкому — его уж баба Тася знала как облупленного, еще недовылупленным наглым цыпкой в детских цыпках ловленного-переловленного в кинозале (вылуплявшегося из-за душной дверной портьеры на стражайше для взрослых *трагическую историю любви проститутки* производства ОАР); да и что, на милость скажите, московская наглость перед харьковской? — так что он и не залупался даже, а безвылазно играл в бадминтон на спортплощадке, пока не наступала совершенная летняя тьма и волан не превращался в свистящую смутную черточку над невидимой сеткой. Тогда Ильюша вытирал рубашкой лицо и подмышки, надевал

ее, рубашку, на опустошенное, мнущееся в сочленениях тело и уходил — сквозь корпуса санатория «Сыпрус» или через пустырь к углу Ныукогуде и Тамсааре, где встречался со всей непоповозрелой гопой, если она сама не заходила за ним на площадку, и мы шли от моря по Ныукогуде, теряя спервоначала сутулую Зину, которая жила по Тамсааре за «Балтфлотом» с сумасшедшей огромной бабушкой, встречавшей ее словами «Ну что, сволочь, явилась-не-запылилась», а она бы и запылилась, но где же ей, *ни кожи, ни рожи, а тоже туда же*, как бы сказал Сергей Евгеньевич Вольф, но, конечно, гораздо позже и не в глаза бы никому. Глаза сутулой Зины всегда плакали, но толстые девушки ее больше не утешали, и она вышла замуж за капельдинера цыганского театра «Ромэн».

Не доходя до Карусселли Ильюша Хмельницкий выпил три стакана газированной воды с сиропом за три копейки, а я — один без сиропа за плашмя ладонью по гулкому надбровью автомата. Здесь мы и распростились — он с одними отправился по Карусселли к новым домам, а я с другими — дальше в темный, дышащий старым кирпичом и липами город. Тень за тенью отскальзывали невидимые спутники и спутницы к скрипящим чухонским чердакам, где ждали их стакан пахты из маленького клеенчатого пакета и сладкая наемная постелька. Последняя девушка мне оставалась *на провѣд* — она шла молча чуть впереди меня, как пингвин — разведя неподвижные руки от узкоплечных плеч к широкоэкранным бедрам; ее уплощенное туловище было наклонено вперед; под редким уличным полушаром круглые ее глаза косились на меня особенно глупо — *эта особенность была прелестна*.

Но — до крестца простегивалась по проводу сжиженная тягучая искра.

У металлической дверцы в эстонский японский садик последняя девушка остановилась и посмотрела на меня выжидательно. Я шагнул. «Только ты не целуйся, а то меня тошнит»,— сказала она радостно. Я ушел.

А Балтийскому морю, как всегда, показали стеклянный барак ресторана с плоскими подскакивающими фигурками и сыграли песню *Линда-Линда*.

Оно поворчало, поворочалось и разошлось.

ТРЕТИЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

— Завтра вечером, примерно так между восемью со-рока и девятью десятью, помолись за меня,— сказал я поэтессе Буратынской.

Поэтесса Буратынская всеготововно кивнула и честно поглядела в сторону своими прозрачно-голубыми глазами. Клинок ее носа блеснул в лучах заходящего солнца, превратившего Марсово поле в сложную комбинацию нестерпимых шарообразных сверканий, а черную воду канавок в простую последовательность тускло-багровеющих треугольников. На углу у Мраморного дворца ждал нас с надутыми губами Циця в расстегнутом волосатом пальтеце, озабоченно шуркающий лобастенькими ботами протершиеся сквозь свежераззолоченную ограду музея революционные листья. Один, особо пунцовый, невообразимо закрутившийся пятью перепончатыми иссохшими лопастями, выхватил я сзади у Цици из-под ноги и воткнул ему кривым плоским черенком за мягкий околыш синего картузика. «Пурпурная роза каэра,— сказал я, любуясь на Цицию.— Хоть сейчас же прям за муж выдавай».

Циця растер лист маленькими железными пальцами и осыпал его пламенеющий прах на мостовую. «Вот ты мне лучше скажи, — и он пережевнул желваки в твердых щечках, — чем отличается гондон от чуингама?» И коварно не давши нам с поэтессой Буратынской поразмыслить, торжественно объявил: «Чуингам — это резинка жевательная, а гондон — желательная!» Поскольку Циця произносил «ø» и «л» совершенно одинаково, максима эта востребовала вторичного воспроизведения с мученически учёточной артикуляцией и даже написания ключевых слов кирпичным сколком на фасаде.

«Вы заходите, — сказал я, — мне еще надо позвонить».

Они завернули в просевшую подворотню, а я пошел дальше по Халтурина, сжатой в кармане ладонью ощущая жесткое узкое тельце двух копеек. Сойдя одною ногой на проезжую и оглянувшись, как Сева, налево, я увидел нос — один-единственный боковой клычок в старческом рту подворотни. Нос приветственно-искренне засмеялся. Я погрозился кулаком с двумя копейками и побежал наискосок через улицу — к зеленой будочке.

Салон в подлестничной квартире, съемной от загульного дворника, держали Михаил Гекторович Экторович, *лицо, известное в городе* (так он сам при церемониальном знакомстве аттестовался), и две его юные подружки по лимиту, — сейчас их звали Люся и Люся. Кроме Люси и Люси присутствовали также Ляля, Лиля, Неля, Леля и Губаша — рослые девушки в свободных платьях. Задушевный курчавый чукча, подкачивая себе в противотакт древнеримской сандалеткой и отворачивая от гитары лицо, сбегает со всех сторон к кончику носа, сипло пел песнь *Ах как бы мне пробраться в ту самую Марсель*. На *Марсели* я и вошел. Михаил Гекторович, разводя широко руки и тряся перевитой серыми кольцами бородой, восставал мне навстречу с красного пуфика. На

его известном в городе лице блестели ласковые глупые глаза. Он сжал мою руку двумя теплыми выпуклыми ладонями, и я уселся в углу, как кузнечик, на пол. Лиля — или нет, кажется, Леля — сунула мне чашку с *марсальским*, похожим цветом на фурацилин, но пахнущим, как двухдневное палое яблоко. Зажгли свечи. Поэтесса Буратынская, сидя с ногами на подоконнике, принялась задорно читать стихи. Чукча обнял гитару всем своим вогнутым телом и собрал на наклоненном лбу опрокинутую ижицу из плотной загорелой кожи. Но сандалетка его продолжала писать фиту — вот так: Ө.

Утро предложило столь нежные переходы из золотого в сиреневый, столь тонкие из куба в свинец и столь резкие из багрового в угольный, что — после целонощного качания и мигания бесконечно вложенных одна в одну, беспредметно татуированных толстожилистым беломорным дымом, безнадежно покалеченных комнатными углами свечных окружностей — глаза остро зачесались, прорезываясь. Шедший со мною по каналу фольклорный композитор Фердюрин сказал, что у него взныло ухо, и поставил на плечо свою скрипуче охнувшую чернобокую гармошку. У Дома книги уже топтался, дожидаясь открытия, Циця, добронравно свинтивший с *салона* в полночь. Как ни звонил Михаил Гекторович Цициной мачехе, как ни молил не забирать Цицю в такую рань, но Циця с мачехой стояли на своем: ему еще де всю ночь младенца качать, да зимние сапоги младшему братцу разношивать. Теперь Циця в зимних сапогах посреди осеннего сверкания и блеска бегал коротко вдоль накладных мраморов зингеровского фасада.

Фердюрин остался с Цицей, заинтересовавшись разницей между гондоном и чуингамом, а я поехал в пустом задыхающемся троллейбусе по Невскому до площади Восстания, которая, как известно, содержала в самой своей середине круглый (что бывает только в России)

неогороженный сквер. И так, у Менделеевской аптеки я вылез и с сомнением поглядел на мирно розовеющие по отдельным верхам и рыже-черно мелькающие по слитному низу купы, отрезанные от постепенно расчихивающегося мира скверным (что бывает везде) кругом безостановочного движения. Действительно, для чего же еще огораживать? — добраться сюда можно единственно что подземным переходом, которого под площадью отродясь не было, а если был, то не для нас. Или зря я все-таки вылез? — не вероятнейший ли способ там оказаться — расколотить аварийным молотком какое-нибудь из левых окон и выкинуться фюсбери-флопом, пока троллейбус себе катит впритирочку мимо? Я обошел раза два вокруг площади и от узкого устья Староневского хорошо разглядел злую вокзальную старуху с черным лицом полумертвой голубицы, озабоченно перетирающую и сортирующую на застеленных мешковиной скамейках свой ночной сбор. «Горлинки мои», — гулькала старуха, расставляя белые, зеленые и темно-янтарные — двойными шеренгами: по пять на руб двадцать. А как же она туда попала? А неровно-рыжая девушка с ироническим скосом сухого еврейского рта, что (наклоненные плечи, руки в карманах плаща) прислонилась ягодицей (превращенной этим из круга в треугольник) к толстому завитку скамейной спинки (качает остроносый башмачком)... — а она как? Я подумал-подумал, раскинул руками, оборотился в неопределимую изнутри птицу и, тяжело махая крыльями, перелетел через скрипуче охнувшую перед светофором желтобокую гармонику тридцатого автобуса. Из одной особо прокуренной липы выкувыркнулась чубастая ворона, встряхнулась в воздухе, перевернулась еще раз и неожиданно солидно понырля прочь по Лиговке, держа сужающейся середины трамвайной аллеи.

В бабушкиной комнате телевизор заиграл *Погоду*.

Через окно шла со двора расслоенная и раскрошенная тюлем белая полоса. Я смотрел на равномерно осевшие и почти исчезшие груди (возле каждого маленького заострения торчало по изогнутому жесткому волоску), на так и не разогнувшиеся плечи, на низкие веснучатые ключицы, на ненавистное сухое лицо с никогда не закрывающимися бесцельно-насмешливыми глазами...

Благая же часть — расстаться с невинностью на диване, на котором по всей вероятности был зачат. Да к тому же еще молитвами поэтессы Буратынской.

ЩЕЛЫКОВСКИЙ РАССКАЗ

Сутулый, как крыса, режиссер перебежал поляну, кратко переставляя маленькие, обутые сетчатыми туфлями ноги. Взбежал на нижнюю галерею *шалé*, в едкий, блаженный запах нагретейшей свежескопированной древесины и вскричал дамочке, выставленной из окна пятнистыми плечами: «Идут мужики, несут топоры, что-то страшное будет!» — «Что?» — спросила недовольно дамочка, поскольку являлась театро-, а не литературоведом, и к тому же держала всегда цитаты за неких электрических насекомых, без спросу залетающих в чужой, слишком просторный для них мозг и неизгнимо бьющихся, стрекочущих и жужжащих в нем, как будто в компотной непомытой банке — до смерти.

— Тысячелетие крещения Руси, вот что! — объяснил режиссер, отогнул большим пальцем штучные белые волосы с носолба, увидел на дальней обходной дорожке заслуженного артиста-теневого Мишу Жвавого, движущегося из финской бани (его полисферический торс в

раннем закате сиял жестко-стоячим золотым рунцом, а совершенно безволосая голова бликовала шишастым бронзовым шлемом) и, плеснувши руками, запоспешал наперерез.

Режиссер, конечно, отнюдь не был профессиональным вестовщиком, по крайней мере не пуще любого из нас — но тысячелетия стрясаются все же не очень чтоб часто, и ему не терпелось раскрутить выпавшее на полную катушку.

А я со вжиком задернул взволновавшуюся занавеску перед носом взволнованного тем же, стоямя отжикнувшего шмеля и сел на незастеленную кровать дожидаться тьмы. Здесь летние сутки обращены в единичный дыхательный акт: проснешься — начинаешь вдыхать, и весь день ждешь ночи, чтоб выдохнуть. Сваливается тьма на остро черные плечи все теснее окружающего леса, вверху оставляя до рассвета светиться из себя темно-синее небо, и можно уже начинать.

Под самую ночь погрома упал внезапный туман. Лес все так же глубоко чернел вокруг, небо все так же до лиловости темно синело, но на поляну нашлепнулась приземистая вырезка мелко-волокнутого оплывающего холодца. По его верху разреженными пятнами жира мерцали фонари. Из вязкого колыхания изредка взвизгивали актрисы, медленно мелькая потушенными туманом платьями. Говорили же мне Ильюша Хмельницкий с московской женой на Ярославском вокзале, что к тысячелетию крещения Руси в Костромской области всеобязательно будет погром. Оттеле, дескать, и земля Русская есть пошла. Я, однако ж, не взялся их убеждать, — да уж было и слишком поздно — что земля Русская не совсем оттеле есть пошла, а сонно поволокся в купе, где уже — сидя по-турецки на верхней полке — баюкал бутылку коньяку мой будущий кроткий попутчик и коллега, во-

роной как смоль драматург из Бугульмы, Бугуруслана, Белебея и Бузулука, похожий на очень худую, очень-очень медлительную и очень-очень-очень пьющую обезьянку — «...но пьет зверок...» Его режиссер, поскрипывая кожей лица и пиджака, орудовал обеими руками в бороде, а *мой*, вышеописанный, стоял в коридоре и лирически лупал на бесповоротно отстающую от поворачивающегося поезда луну своими глазами, слишком, пожалуй, маленькими для его неглубоких, но продольно-длинных глазных впадин. Так они и ставили потом — один руками, а второй глазами.

Я просыпался как ни странно на раннем уже рассвете, когда птицы еще только начинали с разнозвучными скрипами мерно и плотно протирать свои разномерные и разноплотные рюмочки. В разведенно-лиловом небе маленькие русские звезды стояли кой-где по краям, уже не светясь, но еще не угасая. Окружающий лес уже неохотно расступался, еще поверху сохраняя сплоченную игольчатость. Я лежал на спине со вчерашней горечью и солью во рту и думал о том, что полюбить артистку Казáкинову — это все равно, что полюбить козу. Артистка Казáкинова состояла вся из локтей и коленок, как Шива, но брахманической плавности не было в ней ни-сколько. К тому же я сильно опасался, что когда в ночь заезда театральная интеллигенция ныряла голая и пьяная с мостков, эта самая артистка Казáкинова видала мой трогательно-невинный на раздвоенном пушистом мешочке мужской половой хуй. Ее маленькое, выпуклое, пятиугольное, *знаком качества*, лицо сверкало в лунных каплях. Маленькие круглые зубы фосфорно горели из приоткрытого рта. Маленькие — янтарные и голые, как у собаки — глаза смеялись изнеможенно и нагло. Деятели сцены, выворачиваясь всем телом поочередно на обе стороны — как косари — ходили по почти неви-

димой речке, развозили смутными руками луну на две поменьше, заключенных в растягаемые узенькой волною круги. Луна не удерживалась и возвращалась в себя самое, пятиугольно передергивающееся и покачивающееся посредине купальни. Внутри луны стояла артистка Каза́кинова и хрипло говорила кому-то выше себя: «Ну ты, блядь, такой же, как все... Того же, блядь, надо? Ну на», — и раздирала воду на маленькой отвислой груди.

В моей предстоящей к воплощению пьесе артистка Каза́кинова предназначена была играть, извините, графиню, точнее говоря, трех графинь. — и пока шла репетиция и она медленно стягивала черный платок с прямых узких плечей. я не видел никаких сложностей ни с одною из них четырех, а ощущал только превосходное тончайшее жжение под ложечкой. Но сейчас же после, когда она смотрела мимо меня в замшенное мушиное окно репетиционной грибоварни и спрашивала: «Автор, вы пойдете к нам пить чай?...» — я исходил печалью. ...Актеры произошли ведь не от Евы, и их свободная от первородного греха насмешливость не знает никакой пощады. Ну как со всеми этими локтями, глазами, зубами, коленками уложишь свое полное тело в узкую казенную постельку? Я — боюсь их.

Туман поднимался к моему окну. Пятиугольные насекомые, закрывши передними лапками головы, ползли к настенной лампе по выпуклой обойной ботанике. Лес потихоньку начинал гудеть. Вызванный дирекцией *дома творчества* милиционер ходил по краю тумана, как лошадь. Миша Жвавый, возвращаясь из финской бани, неуютно чувствовал себя своею собственной тенью. Тысячелетие крещения Руси наступило. «Пришли мужики, принесли топоры», — издевался режиссер под критическим окном. Артистка Каза́кинова, прозрачно светясь

алой короткой юбкой из самой середины расшевеленной мглы, нестройно пела: «Я еду пьяная и очень бледная по темной улице совсем одна». Всё вокруг засыпало, закрывалось руками, прижималось сосками, обволакивалось туманом, луной и тьмой, и, кажется, уже начинался выдох.

ВТОРОЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Режиссер Чичюкович ставил «Эдипа-царя» в заколоченном клубе девятнадцатой-бис автоколонны. Когда по Обводному еще только начинали поклацывать неспешные грузовики с неаккуратно обглоданной палеонтологией; когда над заканальной Лиговкой еще только начинала сгущаться клееваренная прилежно-тяжкая приторность; когда ночь, протертая до еле замуравленных дыр вращением небесной сферы (из рук вон притертой в этих широтах) еще только начинала протаранивать невидимую луну за краешек граненого земного барабана, режиссер Чичюкович, густо-рыжий сторбленный карлик в берете, выворачивал из наоконной доски заранее расслабленный кривоколенный гвоздь с обвесившей поля мелкопуырчатой шляпкой, и — по режиссерской проминающейся спине труппа залезала в *репзал*. Последним на вытянутых руках подымали его, поскребывающего стенку кротко болтающимися копытцами, затем доска подтаскивалась изнутри, стальные перегородчатые жалюзи опускались и заговоренный гвоздь рыболовной леской втягивался в надлежашую ему дырочку. Репетиция, любовь моя, начиналась.

Я приходил сюда вечерами играть в футбол. *Кадма древнего потомки* — несколько носатых поэтесс, вечно-юный фотограф с неизвестно почему избалованным лицом, круглоголовая тюзовская травести — мрачно-восхищенная жена постановщика, и энергичный исполнитель заглавной роли, могучий крутобородый муж, прославленный тем, что однажды единым уносом украл из пригородной библиотеки все собрание сочинений Бунина — быстро *чумели* от первой же сцены и нуждались в частых передыхах и переключениях. Я был здесь для переключений.

С маленьким красно-синим мячиком в ногах кружился я, задыхаясь, по звенящему белым казенным электричеством залу. Чт́ мне звучно визжащие поэтессы?! — сквозь ихние ноги и фашист проползет! Чт́ мне субтильно мятущиеся фотографы?! — эх, и размечу на крохи говенные! И чт́ мне даже древнегреческий поклонник Бунина, стоящий хохочущей шерстистой стеною?! — обмотать его, неуклюгу, с моей-то обводочкой, не труднее, чем большой и указательный обоссать!

Чичюкович — глядя на меня отечески-доброжелательно, как слепец — сидел в углу на табуреточке: наклоненный вперед, упершийся отогнувшимися рыжеволосыми пальцами в края сиденья и подогнувший переkreщенные ножки к его исподу. Потом хлопал в ладоши, и одновременно с криком «Первая сцена, крыльцо, Эдип, хор!» — сваливался с табуретки. И *Кадма древнего потомки* начинали на четвереньках сползаться в кружок посередине зала.

Мимо Волкова кладбища я шел домой. Протертая до основы ночь опять натягивалась крупноячеистой сетью на смутный костяк колокольни, на скорбутный оковалок скорбного дома, на короткую осекшуюся шерсть труднодышащих низких крон. Всюду была слепота ночи, за то, собственно, и прозванной *белой*.

Жена Чичюковича лежала голая на балконе, а мы с ним в кухне писали пьесу про декабристов. Он дергал себя за волосатую нижнюю губу, взволнованно продыхивал очки, моргая уменьшающимися глазами, хохотал рыжим причесанным горлом и периодически переспрашивал: «Па-а-анима-ешь?» Я понимал.

Приходила с балкона жена, завернутая в переходящее знамя девятнадцатой-бис автоколонны (на коротком бедре половина скривленного и сморщенного Ленина, остальное — в запахе; тяжкозлаченные кисти колотятся о круглые прочные коробочки коленей), оглаживала крупными русскими руками волосы (нечеловечески сильно оттянутые от нарисованного лба в окольцованную подзатылочную выемку), наклоняла голову к плечу (свеже-сухо-красноватому, в мелких родинках) и спрашивала: «Чижики, чаю хотите?» Я хотел.

Звонила поэтесса Буратынская, на вороньем лице у которой день и ночь прозрачно голубели искренние глаза, и интересовалась, не могу ли я сейчас же приехать к Сайгону — поговорить об одном очень важном деле. Я не мог.

Белая ночь не распространяется на шлакоблочные районы, слишком мала, слишком привязана она к дырявым башням, к безногим паркам, к тусклым рекам, к тонкому морю — как перетянешь ее одеяло? Поэтому чичюковичевские окна быстро затекали тьмой из расщеченной луны, и я уходил.

Чья-то ничья дача в Озерках почти висела над зеленым озерком — дощатая четвертная модель венецианского палаццо. В палаццо некогда размещалась *хипкоммуна*, где заплывал в счастливой сладостной дымке молодой Чичюкович с предпредыдущей женой: а она ему изменила с его лучшей подругой — обыкновенная и грустная история. Чичюкович назначил здесь прощанье.

Он уезжал. В Одессу, ставить в кукольном театре «Морозко». Значит, не надо учить вторую сцену?» — с облегченным звоном выдохнула в телефон поэтесса Буратынская. (..Да и все равно, с тех пор, как я расколотил приборный щит особенно сочной поливой, репетировать им приходилось в полной темноте. Чичюкович говорил, что это невероятно расширяет энергетику и меняет местами Инь и Янь, но и ему было как-то неуютно среди топчущих теней, в шумной тьме, еле просвеченной перекрещёнными щелями).

У калитки вертелась вокруг серой мозговой кости замшелая лайка. Я взялся за калиточную заржавую скобу. Она наступила на кость, посмотрела на меня искоса и коротко пошевелила толстым закрученным хвостом. «Это человек! Не оскорбляй человека! Пусти человека, сука!» — заорал вывесившийся из мансарды любитель теперь понятно что не только Бунина.

Чичюкович, обаятельный карлик, сидел на столе потурецки среди свечек и стаканов и говорил, что вырежет в Одессе из конского каштана куклы всех исполнителей автоколонного «Эдипа» и поставит с ним «Морозко». Некоторые плакали. И что *изнутри* он сможет в два раза больше. Некоторые смеялись. И что не самостоятельность, как он предполагал раньше, а куклы — единственная нынче надежда. «Ласковый петух две жопы клюет», — мрачно сказала хозяйка ничьей дачи. «Двуглавый петух две жопы клюет», — возразил фотографический юноша. «Ласковый, двуглавый, жареный петух две жопы клюет», — обобщил Чичюкович и закачался от загортанного хохота.

Спать разобрались на полу грустные и пьяные. Четыре комара принесли сеть сумерек и накинули ее на всю повалку, чтобы понизу стало темно, а поверху темно. Яблоня-китайка всеми косичками отвортилась от окна

и тесной очередью уронила на крыльцо маленькие черные яблоки — среди них и одно фосфорно-белое, сдавленное, подгрызенное. В гоголевском носу поэтессы Буратынской захлопали какие-то крылья. Фотограф пробормотал в гулкую дырочку изголовной гитары нечто длинное, оскорбленное. Жена Чичюковича перевернулась одним движением короткого плотного тела на спину и окончательно перешла в инженерю. Все ее губы через два года (что заранее сказать было невозможно) оказались твердыми, тонкими, неподвижными, словно с силой натянутыми на неизвестные анатому дуговидные губные хрящики. Сам Чичюкович, будущий Карабас из Джек-казгана, спал сидя в воздухе над столом, и в очки его понабились фосфорные семечки луны.

С сумеречной паутиной на лице шел я к первой электричке. Ничья дача плыла за мной, наклоненная, по располосованному дальними фонарями с верхнего шоссе озерку. Сзади что-то чиркнуло — я быстро оглянулся. Волокнув за сверкающую голову огромную полуобъеденную рыбу, вчерашняя лайка переметнулась через дорожку, как крыса. В узком окошке мансарды зажглась маленькая лампа.

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ РАССКАЗ

На свете ничего нету ужаснее системы американских ватерклозетов. До половины монументального горшка в них незыблемо стоит кристальная вода, и когда в ней начинают распушаться и разворачиваться лимонные облачка ясной манхэттэнской мочи, приезжий не без испуга ощущает себя каким-то юным химиком. *(Сидит*

химик на скамейке, долбит хуем три копейки...) Отчего все-ж-таки американцы не доверяют сливу? Наверное, обладателям настоящей, дикой, гигантской Ниагары всякая искусственная, домашняя, крохотная кажется всего лишь пародической непристойностью? Допустим, здесь действует вообще свойственный американскому сознанию романтический эстетизм, но существует же и этика (правда, Уолдо?): одно дело семихвостой водяной плетью согнать в подземельные бездны отверженную, но несомненную часть себя, и совсем иное — уничтожить в коварно подразверстом отверстии, в хищно увинчивающемся водоворотце нечто новосозданное, нечто от тебя отдельное, некое уже было самостоятельное в унитазе вещество. И дело пахнет разрушением материи, хоть и изобреталось наверняка, чтобы ничем не пахивало.

Я горько вздохнул, как и всякий человек, застегивающий штаны, бросил прощальный взор в толстостенный, затекающий свежей водицей вазон и вышел.

На плоской крыше гостинички уже почти стемнело, но вокруг, в длинных косых и заостренных, черно-зеркальных стоячих полосах желтел с отливом закат. Я почувствовал себя на дне железного, продольно расплосованного стакана. Задушевный курчавый чукча (за истекшие одиннадцать лет обросший короткой асимметричной бородой и надклеенной к ней простодушно-мрачной улыбочкой), подкачивая себе в противотакт древнеримской сандалеткой и отворачивая от гитары лицо, сбегаящее со всех сторон к кончику носа, сипло пел песню *Ах как бы мне пробраться в ту самую Марсель*. На *Марсели* я и вошел. Через 44-ую улицу, в верхнем этаже католической школы, заплескивали в дюжину маленьких обожженных ладоней. Из окон дортуара закивали и засвистали черные девочки в белых платьях.

«Come here... come on...» — сказал я тихо и подгрел к своим очкам сумрак рукой.

Дженни Каценельсон, соединенные стати Америки, — великанша с большими черными кустами подмышками, укоризненно покачала огромной глазастой головой. Сторожко дремавший в плетеном кресле у заставленного водкой и кока-колой трехногого столика цыганский драматург из Бугульмы, Бугуруслана, Белебея и Бузулука вдруг дернулся, шелкнул конским подбородком о худые ключицы и с хрипом закричал: «Ну, кто тут еще держит негров в черном теле?»

— What has he said? — спросил кто-то неразличимый из дальнего угла крыши...

— He is protesting against a racial discrimination, — ответил я.

— Fine, — подумав, решительно кивнул кто-то.

Дженни Каценельсон, которая в глубине души понимала по-русски, покачала головой еще укоризненнее. *...Долбит хуем три копейки. Хочет выбить три рубля...* — пел чукча, залихватски встряхиваясь.

— Пойду позвоню, — сказал я никому.

Подруга Цициной тети Муры ждала меня на углу в пустой итальянской закуской. Голубое военное платье со множеством карманчиков, погончиков и пряжек, а над ним еще не старое и красивое обезьянкино лицо. Она мелко прикусывала из стакана минеральную воду и нервно поглядывала за окно — на белое пятнышко прижатого к витрине черного носа и на два (чуть повыше) мигающих выпуклых колечка с круглыми искрами посередине.

— Как там Мурочка, здорова? — небрежно вертя в пальцах конверт, как бы забыв, где же он расклеивается, хоть он нигде и не расклеивался.

— Очень больна, — твердокаменно (памятуя о полученных инструкциях): — Особенно племянник.

— А вы тоже хотите поселиться в Америке?

— Нет-нет, что вы, я совершенно не могу здесь жить — меня ужасает система американских ватерклозетов.

Подруга тети Муры поперхнулась пузырьками и закашлялась. Я любезно постукал ее по плотно-натянутой чесучовой спине.

Шелестящее растение вентилятора поворачивалось туда-сюда на шкафу, а выпрямленное тело подруги тети Муры неподвижно лежало по диагонали квадратной тахты. И опять отдельное от него, подобранного и гладкого, смеялось, как чье-то чужое, пьяное ее лицо. У всех женщин, когда над ними наклоняешься в темноте, одинаковые лица — с глубоко раскрытыми блестящими глазами и ртами. Такое было с минуту назад и у нее, будет и десять минут спустя, но сейчас — на погнувшихся о подушку волосах, темное (только лоб узко и косо белел в оконной полоске), коротконосое и спокойное — оно пугало.

В коридоре захлопали дверьми и затопали. Долетел неровный, неразборчиво и плоско гудящий голос и поперек под ним — купнострунный терень-берень. «Что это там?!» — одним сильным и плавным движением подруга тети Муры села на постели.

— *Хочет выбить три рубля — не выходит ни хуя!*.. — объяснил я: — На крыше у нас протекает вечер дружбы, а под крышей — ночь любви. — Она низко засмеялась.

Будто бы в ответ, за стеной, проходя, захохотали по-американски — счастливым согласным хором. «It's good, isn't it?» Химические куплеты явно обретали Большой Американский Успех. Я положил ее сухую

граненую руку с двумя жесткими кольцами себе под яйца.

Кто понимает, оценит — какое же это счастье: в самой сердцевине июльской жары поворачивать руками и ртом прохладное, плавное тело, чья голова, отрезанная, лежит в изголовье, все тончея и сужаясь, — даже если она пахнет сладкой и червивой китайской водкой и самым основанием изогнутого горла бормочет нечто вроде *Прощай страна изгнавшая меня прощай я не держу обиды в душе твоей образ та́-та-та храня я уйду искать Фемиды Любила я как родину тебя меня родной ты не считала Я уйду та-та-та́-та скорбя но не жалея Ты мне жала как обувь тесная которая мала..* — даже если почти что уже не стоит, а только червиво и сладко вздрагивает.

Быстрое насекомое лицо вентилятора медленно обводило комнату пыльным кольчатым глазом. Подруга тети Муры, нервно на него поглядывая, озабоченно застегивала свои карманчики, погончики и пряжки, иногда с ненавистью глядя меня снизу по икре.

Я провел ее, почему-то босой, через оба этажа затихшего дома и бесшумно отомкнул перед нею все замки и цепочки выхода. Она закричала «Такси, такси» и побегала маша сумочкой наискосок через улицу.

На крыше, под незнакомыми звездами и все тою же самой луной Дженни Каценельсон качала головою укоризненно. *Химия, химия — вся залуна синяя!* совсем задохшись допел чукча и с решительно-гулким стуком поставил гитару между коленей. Цыганский драматург неожиданно выпрямился в кресле, раскрыл ясные черные глаза и убежденно-размеренно произнес: «Казахи — они спокойные, как говно». Дженни Каценельсон рассмеялась.

июль — сентябрь 1992

Александр Образцов

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

В добром времени мы разминулись.
В городские ворота вошли.
Просыпались — и не проснулись.
Лишь белки в темноте повернулись,
Заигрались в алмазной пыли.

Не открыть век большого простора.
На сетчатке — Вселенной пыльца.
Мысль тоскует в сетях разговора.
Задвигается черная штора,
И задвинется до конца.

ноябрь 80

ФОНТАН

Наддал фонтан — дуга возникла.
Вода, белесая, как пыль,
Кудрявым деревом поникла
И преломилась, как бутыль.

Воде ведь стоя неудобно,
Когда толкается насос.
И ротозея взгляд подробный
Ей утомителен до слез.

Лети, фонтан Бахчисарая!
Старейте, сонные тетери.
Вода, как юность, умирает,
И ручеек течет под двери.

6 июля 80

* * *

Мне зеркало твердит, что молод я.
Я молод так, как молода семья,
Поникшая от горя. Ей виднее,
Как наливается рыданиями шея,
И как зияет место за столом,
И как волос касается крылом
Непостижимое.

Такая тьма и боль,
Таких надежд бесформенные ключья,
Что снова жить не стоит, не неволь.
О, как прочна тупая кость височья!

28 авг. 77

Евгений Мякишев

С Т И Х И

* * *

Когда темно и безразлично
Движенье зданий и столиц,
Мы ищем то, что симметрично
Больной прохладе наших лиц.

Мы ищем то, что не нарушит
Ладоней знаки и ступней —
И если нас вода задушит,
То мы не растворимся в ней.

1990

* * *

И. З.

Коль дом твой цел, и ветер сыт, и кисть в руке легка,
Ответь — убудет ли красы от лишнего мазка?
Цвета, как рыбы, идут дном. Как сеть для них —
краса.

При свете б лунном и дневном глазеть во все глаза,
Оставив с носом и со лбом того, кто не горяч,
Кто ходит на сердце со льдом и во цвету не зряч.

Я плакал бы с полей росой на ноги рыбаков
Пред бессловесною красой уверенных мазков,
Но тот, кто холоден и слеп, уж выбелил поля,
И не набрать на белый хлеб полтинник до рубля,
И не увидеть в глубине цветов над самым дном,
Пока не вспыхнет по весне кровь в сердце ледяном.

1988

* * *

В сыром проеме ягодиц
Таится смысл мужской отваги
Не разглядев великих лиц
На рыхлом шорохе бумаги
Рабочий ткацкого станка
вздымает пухлую десницу
и погружает ком листка
меж ягодиц и как синицу
роняет в воздух из руки
все то что было и пристало
летит листок в исток реки
Рабочий посмотрев устало
на скорый миниводопад
вдевает ноги невпопад
бормочет песню или басню
Смешно считать что он опасней
с листом в руке чем листопад

Вращай угрюмыми глазами
Владелец теплого белья
Большими лбами и носами
истерта задница твоя
Любой великий и достойный

Родной стальной и золотой
Бывал чего там в непристойной
в недавно полной но пустой
Кто огорчен таким раскладом
Кто полон горя и тоски
Тот кто измазан шоколадом
Или изорван на куски
Доволен тот кто тих и скромн
Силен кто может выше птиц
Но и для них простор огромен
В сыром проеме ягодиц

1988

* * *

Услышав длинный звук в ночи,
Мы отправляемся туда,
Где спит подземная вода
И не звенят ключи,
И двери заперты, но мы
Проникнем в щели — словно дым,
Точнее — разные дымы
Над зеркалом воды.
Там зыбкий воздух студенист,
Картавый ветер дует вглубь
древесных флейт — и плачет дуб.
Угомонись, Флейтист!
Мы эту песню наизусть
Уже успели заучить,
Она и без того звучит
Всегда из наших уст.

Апрель 1992

* * *

Зима — железная красotka, рука к ней прилипает.
Хрипит простуженная глотка, к небу слово
прикипает.
Замерзло все, и ветра вздох бездомный хрипнет
жадный.
Над ледяною степью бродит и комкает конверт
бумажный
Последний летний день продажный.

Давай со мной считать слова в холодных строчках.
Вот, например, идут слова в больницей пахнувших
сорочках.
Вот, например, идут — с отрезанными
воротничками —
На эшафот, при этом притворяясь дурачками.
Что ты, бездомная, бездумная! Не нужен тебе голос.
Не нужен смех, не нужен страх. Тебе ведь нужен
только волос.

Тяни за этот волосок, тяни —
Как бородавки обрезая дни.
Зима теперь мне не страшна.
Зима теперь моя жена.

1988, май

* * *

Я научусь стоять в дыму печной трубы
И, наблюдая лбы пространных облаков,
Считать количество витков полночного светила,
Я буду слышать, как молчит в хлеву кобыла,

Я буду слушать зов уснувшего села,
Где ровной музыкой дыхания крестьянства
Согрето утреннее бедное убранство
Столешниц медленных — и честь им и хвала.

Я научусь дышать крестьянской простотой,
Где вечною верстой гордится смутный пахарь,
Где охраняют жизнь знахарка или знахарь,
Где властвует кузнец, и жница мне мила,
Где длится время, застывая, как смола.

На каждый новый вздох — смятение и страх:
Я с кровли, впопыхах, сойду перед рассветом;
Над осенью раздетым лесом я увижу ведьм...

1989

* * *

Появился некто в грязных облегающих портках,
Говоря о безобразных белорусских мужиках.
Будто где-то там, под Минском, до сих пор идет
война:
Бьются люди с исполинским узким брюхом топчана.

А верней — бои за плоскость партизаны там ведут,
В сонно-хлипком отголоске слышим злой английский
«good»...

Это силами Антанты взят профком за кабинет.
Белорусские мутанты пьют из горлышка «кларнет»...

1985

* * *

Улыбнемся — смеха ради —
И завяжем узелок
На чугунном Петрограде,
И допишем эпилог.

Жизнь закончилась внезапно —
Наступила тишина,
Ничего не будет завтра:
Ни овина, ни гумна,
Ни Овидия, ни Рильке,
Ни Растрелли, ни хрена.

1986

Елена Шварц

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КРОВОТОЛКИ

(нищенка с червонцем, дерево с дарами)

(маленькая поэма)

1 Нищие

Где же нищие? Куда их дели?
За небесной пищей они улетели?
Говорят — они разбогатели
миллионы — судачат — в тряпье они прячут,
они нас с тобой богаче.
еще сыщешь может быть нищих
только в церкви да на кладбище.
Не увижу в грязи я стоящую шляпу
и во тьме у нее серебристый улов
и немого язык — что бешеным кляпом
бился около слов.
У кого вместо бедер колесики были
те на них — на стальных — уже в рай укатили.
Не попросит старушка хлеба ломоть
и не скажет вослед — спаси ты, Господь.
И придется мне их заменить хоть собой
и петляя бродить в переулках с сумой,
целовать всем прохожим ноги
становясь голубой и убогой —
как тот блаженный терпеливый
осклизлый синий и червивый —
почти землей был дядя Гриша
ведь нищий — Богу ниша.
Он умалился — Бог в нем ожил
и руку протянул прохожим.

Любви, любви — небесной пищи
просил Господь всем чревом нищим.

2 (симбиоз)

нету моей замшелой лиры —
дуба, что рос здесь на черной речке
его спилили срубили спилили
и не поставишь даже и свечки
нету для дерева рая нет и могилы
и когда впилось острое пилы,
в нежно шершавое и беспомощное тело —
мне приснилось — что со скалы
в пропасть я полетела,
то ль душа его прилетела
со мною навеки проститься,
то ли в смертной тоске хотела
за душу мою уцепиться.
пустоту вытесняло сто лет
его сложное сильное тело
вот уже взяла свое.
нагло зияет и равнодушно —
по торжеству пустоты
мы всегда узнаем о потере,
по яме воздушной.
нету лиры замшелой —
а душу она исцеляла,
у нее глаза были,
ум был у нее.
приносила я в жертву вино и монеты
два серебряных там зарывала браслета
и она меня обнимала лечила
как увидит — всеми листьями ахнет
грубо нас разлучили
разделили — и я умираю и чахну.

В сквозняк врезается звезда,
а за окном хрустенье льда
пусть все во мне горит, дрожит
любви порывам надлежит
умолкнуть в ночь — когда
зовут, звенят колокола
мгла в небесах так зелена
там сумеречный лес
— возьми моих два-три ребра
и исцелуй их до утра
до сини — шепчет бес.
В простые дни совсем не грех
любить любимых всех.
Но нынче нас зовут. Пойдем!
а мы упрятались вдвоем
в хрустальный злой орех,
и сотни, сотни нас.
пусть истлевая как свеча
погаснем мы сейчас
за то что двери не нашли,
а спрятались в алмаз.
святые надушились все
и в небесах плывут
за окнами и хруст и гуд
стучат в окно; зовут.
Господень ноготь прочеркнул
стекло — и вжикнув, стихнул он
как будто хриплый стон
— за сладких несколько минут
ты может вечность потерял,
не жаль тебе, тебе? — молчал
и в сердце крепче целовал —
в дрожащий перезвон

4

льется, ткется из сердца
паутина горячая
золотая
тебе никуда не деться.
и ему никуда не деться.
из кончиков пальцев,
из ногорук
стальной тонкой жарой
обовьюсь
я — паук
золотой.

5

пусть двух возлюбленных моих
я затолкала в тесный стих,
пусть даже больше было их —
они не виноваты.
они увидели во мне
как в зеркале — брат брата.
В преступном и тайном своем содоме
не меня они любят — кого-то кроме.
В этой жизни где все только режет и рвет,
пусть любовь моя их перевьет.
Перепутала я имена даже их,
но узнала их тайное имя —
те все были ведь греческих светлых святых
ну а то — из костей серафима.

6

Кому — думал творец
слепив эти сложные длинные кости —

отдам — на челюсти рыбе большой
или построю двери в собор,?
нет, повяжу с душой.
и отдал тебе на нервический свод
ребер — изломанный согнутый вход
туда, где жизнь одиноко живет
и знает — никто к ней сюда не придет
и тихо псалом поет
разве только любовь скользнет
золотую свечу зажжет
в стучащий молотом водоворот
под малиновый свод.

7

вот она — только царапни,
кровь уже тут — как из-под кочки болото
по глиняным тонким сосудам
багровое море
разлито,
мечтает — хрупнут скорлупою все лица
и мы — ручейки и потоки
сможем разливом весенним разлиться
и слиться! В крови — любовь
а в кости отрицанье любви...
Когда я, наконец, себя как кровь пойму,
сброшу белую тьму
и соленой пальмовой ветвью
наклонюсь к Господу моему.

8

звезда по небесам идет,
звезда по облакам плывет
и скачет через тучи —

она не мертвый хладный шар
она есть дух могучий.

Гори-свети, пылай-гори,
клянусь я всею кровью
и всей зарытою во мне
божественной любовью
что то не камень в облаках
бздушно в цель летящий,
нет — это дух, нет — это ум
округлый и горящий.

и больше я тебе скажу
раз уж такие речи —
смотри есть крылья у него
и луком птичьи плечи.
Отец и Сын расчленены —
он свяжет горло певчим.

Как кровь от сердца к голове
в огне несет он вести,
глаза поднявши к синеве
пойдем с волхвами вместе.

он искры сыплет в высоте
путем из света в тьмы
и шепчет плачет в пустоте:
Я, ты, они и мы
все перепутав и поняв:
сон, ЯГВЕ, Элохим и яд.
он знает — будет в темноте
в раскрылья он распят.

он молнией ли шаровой
невидимым ли током
летит над нашей головой
всегда, всегда с Востока.

9 Виденье о забытом стихотворении

Слова рожали.
кто бы мог
подумать, каждый слог,
союз какой-нибудь предлог...
и жемчугом дрожали.
каждая буква кровью налилась,
забилась, жерлом в себя провалилась,
как почка вскрылось буквотело
червячками полезли мужчиноженщины
из каждой зияющей трещины
и в тартарары их толпа полетела.
Стихотворение лежало
мертвой роженицей
в луже кровавой,
и я, как бледный отец,
поняла, наконец, —
что было моею забавой.

10

Под языком у жизни жало,
сначала будто все ласкала,
потом колола и кусала,
кровавым ядом наплатала
и ядовитую я стала.
и вот сижу я бритой нищей —
что деточек своих пожрала —
на гноище на пепелище
о корочке всех умоляла.
А темной ночью из подвала
червонец красный доставала
и то плевала, то сосала
то плакала, то целовала,
то снова в землю зарывала.

так что же это там у ней?
душа? талант? любовь?
иль чья-то спекшаяся кровь?
она как жизнь — кощей,
та тоже что-то прячет в нас
или от нас скорей.
ах что? — да голубой алмаз,
в нем горсточку червей.

11

Деревья свечи все зажгли
и машут головами
и лес мерцает и дрожит,
Марии он принадлежит
весь с хладными зверями.
в тот миг как било Рождество
их души вышли из оков
и время, вывихнувшись чуть,
скрепясь, пустилось в путь.

И древо ловкое одно
выходит из ворот
и по сугробам прыг да скок
с зажженною свечей
и в горний Вифлеем бредет
за ним бы нам с тобой

Волхвом-царем оно идет
живой горящей лирой
и мой браслет в корнях несет
в стволе — вино и мирру.

25 дек. — 8 янв. 80

ПОЭЗИЯ НЕМЕЦКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА

Георг Тракль

ПСАЛОМ

Тихо; как если б слепые уснули у желтой стены,
Висками увядшими чувствуя воронов крылья.
Золотое молчание осени. Отчий невидимый лик
в мелькающем солнце.
Под вечер в коричневых кронах темных дубов тонет
старинный поселок.
В кузнице — красный стук, шумно бегущее сердце.
Тихо; замедленным жестом гиацинтовый лоб
закрывает служанка
В жарких подсолнухах. Страх молчаливый
Слабеющий глаз заполняет углы, опасливый шаг
Немощей женщины, складка пурпурного рта
долго негаснет во тьме.
Тихие сумерки тонут в вине. С низкого потолка
Падает бабочка, нимфа, умершая в сне голубом.
Батрак во дворе забивает ягненка. Сладкий запах
крови
Лбы обволок нам, темный холод колодца.
Соболезнуя гибнущим астрам, летят голоса золотые.
Когда будет ночь, ты станешь смотреть на меня
из полуистлевших глазниц,
В голубой тишине превратилось лицо твое в пыль.
Так тихо сорняк занявшийся гаснет, каменеет черная
деревушка,

Как если б с синеющей Голгофы скатился крест,
Как если б Земля в немоте выкинула мертвеца.

перевод Б. Скуратова

ОСЕНЬ

Под благовест вечерний в небе синем
Я вижу — караваны птиц счастливых
Толпой паломников благочестивых
Уносятся к неведомым святыням.

Когда же ночь замкнется над садами,
Приснится исчезающая стая,
И мнится — стынет стрелка часовая,
И я напрасно мчусь за облаками.

И гибельный охватывает трепет,
И птица в листьях виноградных стонет,
Листва узоры за оградой лепит.

Как в пляске смерти тихий голос тонет,
У темного колодца — детский лепет,
То зябнущие астры ветер клонит.

перевод Б. Скуратова

УЖАС

Я в комнату забытую входил,
Плясали звезды бешено во мраке,
На синем фоне лаяли собаки,
И раны сосен ветер бередил.

Тупым покоем сковывают вновь
Уста мои отравленные маки,
Роса, мерцая, подает мне знаки
И падает, и падает, как кровь.

Из зеркала спустился сумрак серый
И, медленно пронизывая сферы,
Лик Каина плывет ко мне в окне.
Я слышу — шелком шелестят портьеры,
Льет свет луна — и пустота без меры;
Убийца мой со мной наедине.

перевод Б. Скуратова.

Георг Вгейм

UMBRA VITAE (ТЕНЬ ЖИЗНИ)

Все в мире — пустота и маска смерти.
Разбей — и ничего за черепками:
Ни крови, ни дыхания, ни жизни —
Гнилой подвал с большими пауками.

Здесь лабиринт замшелых стен дремучих,
Здесь ужас путника во мраке гонит.
Порой пробьется сверху тонкий лучик —
И в мутной тине затхлости утонет.

Здесь в темной тесноте времен утробных
В кружок кирпичный города сомкнулись.
И только облака небес загробных
Вольны парить над мраком мертвых улиц.

Иссохший мир зловонных испарений.
Кромешный морг. И спертый запах гнили.
То тут, то там стенающие тени
Приносят бурые венки к могиле.

Вот здесь цвели цветы на клумбе. Ныне
Они мертвы: их время миновало.
А там — поля, пожухлые пустыни,
В которых ветры гнезда выют устало.

Вдали над иссякающим потоком
Видны пустых мостов большие дуги.
И тащит сеть в молчании глубоком
Рыбак — последний в вымершей округе.

перевод И. Большевой

* * *

Скользкий парус. Сумеречный свет.
Река чернеет, словно глубь колодца,
Закат сгорел, и только бледный след
От всех воспоминаний остается.

Вот отблеск фонаря из челнока
Пал на ладонь твою и, чуть дрожа,
Взбежал по тихим венам до виска,
Где чутко спит и видит сны душа.

Что ты молчишь? Что ищешь ты во мгле?
Что твои пальцы сжаты и желты?
В сентябрьских туч трагической игре
Ужель умрешь, ужель умрешь и ты?

Перевод А. Попова

МОРСКИЕ ГОРОДА

На всех парусах вошли в эти гавани мы,
В города, где сочится свет из морозной тьмы,
Где сотня лестниц пустых, и каждая, как гора...
Махали бревном горящим черные шкипера.

Ни колокольного гуда, ни нищих у края дорог,
Ни горнов, ни труб, и только стук наших сапог.
И наги, словно стены, были все города.
Лишь в бойнице одной стояла пастушья звезд?

Обломки деревьев торчали в кустах густых.
Соль оседала на ржавых замках ворот.
Скелетами нависали разломанные мосты,
И дальше пламя падало в бездну вод.

Перевод А. Попова

ГИМН

Бесконечные воды грохочут, катясь через горы,
Бесконечное море венчает бескрайнюю землю,
Бесконечные ночи восходят с воинством черным,
И тучи сгоняет ветер невиданно-быстрый.

Бесконечный орган гремит в миллионе регистров,
Вскрикивают в дудки ангелов сонмы
В предвечном пространстве над башней огромной,
Что в пустоте синеющей виснет.

А людские сердца, изнуренные низкою жизнью,
Под оглушительный звук безнадежных свирелей,
Как тени, встают на другой стороне заката,
Вздываясь в смертном стремленьи.

Перевод А. Попова

ОСЕНЬ

Ветер носит змей бумажных стаи,
Воздуха высокие столбы.
В поле у детей прозрачны ткани
И бледны веснушчатые лбы.

В море золотеющего жита
Легкие белеют паруса;
В легкий сон их — в голубые дали
Сизых туч вонзилась полоса.

И тогда недвижимый лес, как город
В зареве багровом, встал вдали.
Золота осеннего хоругви,
Вялые, свисают до земли.

Перевод А. Прокопьева

Макс Герман-Нейссе

ПОЛНОЛУНИЕ

Когда луна зовет к себе — смятенный
выходит «форточник» из дымки сизой.
Легко по краю он скользит карниза,
лунатиком шагает он сквозь стены.

То над балконом стрекозой порхает,
то — губы дудочкой — сосет из мрака

все, что блестит. И нет его. Собака
впустую на круги цветные лает.

И вот, не в силах побороть дурмана,
он в душной классной перед зеркалами
танцовщицу ломает пополам — и
бессовестно крадет ее румяна

и долгий поцелуй. В нем яд ли, нет ли,
узки ли кольца девичьи для пальца, —
восторгом смерти полон вор. Страдальца
луна в серебряной сжимает петле.

Перевод А. Прокопьева

НОЧНЫЕ ЧАРЫ

Ночью к звездам деревья тянутся не дыша,
вырываются улицы за городские ворота,
мимо душного сада, где себе удивилась душа,
до чащоб непролазных, пока не уткнутся в болото.

Те, кто должен молчать был в шуме дня городского,
не без трепета пробуют любовную тему,
и в укромных местах начинается пение снова,
превращается двор то в сонату луны, то в поэму.

И тогда опускается Вестник над асфальтом аллея,
управляет фонтанами, звон разбудив колокольный,
и на рыночной площади отверзается склеп королей, —
беззаботные тени, как дети, легки и довольны.

Океанами света залит весь тротуар,
ветер рвет провода и серебряных чаек уносит —
вот всемирный потоп, апокалипсис, буря, пожар,
люди спят, а стихия их бедные головы косит.

Но не вечно же ночь... утром каждый опять одинок,
тучи плачут слезами кровавыми и сутулятся,
умирает мерцание звезд, и деревья словно без ног,
и сады замолкают, и в камне безжизненные улицы.

Перевод А. Прокопьева

ПОХОРОННАЯ КОМАНДА

На неторопливом катафалке
крошечных зеркал мелькает ряд,
колесо бесшумно, клячи жалки,
даже колокольцы не звенят.

И незримый кучер беспримерно
кнут вытягивает вдоль хребтов.
Судный День вчера был. С нами, верно,
пошутить еще Палач готов.

Кто заглянет в зеркальце такое,
убедится, что сошел с ума:
ужасом, безумьем и тоскою
безобразит смерть его сама.
Воротясь, опустит долу очи,
странно улыбнется, ляжет спать.
А жена услышит среди ночи
всхлип безумья, и опять, опять.

Захрипят часы. Но, руша балки,
к погребенью бьют колокола.
Сквозь туман блестят на катафалке
мутные, слепые зеркала.

Перевод А. Прокопьева

СОЗЕРЦАНИЕ

Деревья тошнит от зеленого яства.
Серое небо давно уже так не мрачнело.
Лишь трава торжествует —
Бесконечные узкие жала.

Что, собственно, было у нас за душой?
Добродетели гаснут, когда понимающе все
Пожимает плечами. Слава — худа
И свободой не пахнет. Во многоей мудрости

Много печали. И меркнут воспоминания,
Даже самые лучшие, избавляющие
От страданий. И непостижимо
Стихает загадочный бормот далеких видений.

Остается любовь, полная тайн,
Полуженщина-Полузвезда,
Что в темнеющем сердце мерцает,
Словно капелька вечности, ласково, тихо, когда

Снова зима по притихшей проходит земле,
И еще безысходней одиночество неба над садом,
И, вздохнув облегченно, гляжу на пылающий запад,
Где закат, как мечтатель, все медлит и медлит домой.

Перевод А. Прокопьева

ДОЖДЬ НОЧЬЮ

День был да сплыл. Вода над головами.
Фальшивый жемчуг колотого света
Дрожит в глазах, да в щелке меж домами —
Клочок брусчатки и кусок кювета.

Все остальное сожрано туманом,
Непроницаемым, как серой кладки
Замшелая стена. Известкой, хламом.
Крошится дождь под прессом—плотный—гладкий—

Как будто хочет в каждый взгляд с рожденья
Обрушить черный мрак бубонной гнили.
Как редкие болотные растенья,
Взгляни, внизу блестят автомобили.

Как старая чахоточная жаба,
Из мокрой тени шлюха выползает.
Там режут борова. Там плачет баба.
И все обвал дождя уничтожает.

И ты бредешь затравленно и дико.
Мокры ботинки. Плащ набух водою.
Глаза безумны от алчбы и крика.
И ты гоним, гоним, и нет покою —

Наверное сам Черт решил явиться,
С облищем свинским сохраняя сходство.
Наверно, что-то страшное творится —
Бессмыслица, бесчеловечье, скотство.

Перевод И. Большева

ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

На улицах домов толпится стадо,
Над их горбами — солнца серый клок.
Не сводит с мира обезумевшего взгляда
Надушенный завитый пуделек.

В окошке парень ловит мух, икая.
Обгадившись, младенец зло орет.
Медлительный состав, по небу проезжая,
С нажимом длинную черту ведет.

Как «Ундервуд» стрекочет строй пролетов.
Отряд гимнастов прет из-за угла.
Из кучерской пивной — салют лужены.
И надо всем плывут колокола.

На ярмарке у городского парка
Темнеет. День, дымясь, идет ко дну
Шарманка голосит; грустя, поет кухарка.
Супруг мутузит пьяную жену.

Перевод И. Большева

КОНЦЕРТ

Пустые стулья выстроены в ряд.
Зловеще спинки голые торчат.
На часть из них накинули людей.

Зеленая мадам косит в листок.
Кому-то нужен носовой платок.
И сапоги — одни других грязней.

Седой старик поет, разинув рот.
Девицу парень за руку берет.
Пацан играет кнопкой на штанах.
На сцене первой партии творец
То вверх, то вниз качает свой кресте
Сияет голый череп на плечах.

Визжит. И рушится.

Перевод И. Большова

Олег Григорьев

С Т И Х И

ИЗ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ

* * *

Дом, полный криков людей и звона кастрюль.
Звон кастрюль, полный домов и крика людей.
Звон людей, полный домов и крика кастрюль.
Дом кастрюль, полный звона людей.

* * *

— Что легче нести? Человека в мешке
Или человека с мешком?
— Конечно, человека в мешке,
Человек в мешке собирается в ком.

* * *

Сидит на окошке Сизова нагая,
Ногти ножницами состригая.
Напротив Сазонов, тоже нагой,
Держит бутылку и манит рукой.

* * *

Как бумажный парходик
Среди острых, страшных льдин,
Грозно стиснутый народом,
Я лавирую один.

* * *

Ощупаешь живот — и остро печень
Отдаст, как бы пробитая гвоздем.
А за окном июльский теплый вечер
И девушка босая под дождем.

* * *

Чтобы быть белей и краше,
С головы до самых ног
Галя мылась в простокваше,
И теперь она творог.

* * *

При внезапном громком стуке
Поднимаю вверх я руки,
Потому что в этом мире
Я, как кукла в детском тире.

ЩЕЛЧОК

Пожелтел в саду стручок,
Обтянул горошины.

Неожиданный щелчок —
Горошины разброшены.

ЗВЕЗДЫ

Текут в поднебесьи звездные реки.
Очень красиво... это да!!!
Однако холодно быть человеком,
Если ты сам среди звезд не звезда.

* * *

Тухлый взбалтывалпряного —
Сырого, нагого и пьяного.
А жухлый наматывал тухлого —
Поджаристого и пухлого.

* * *

Все уменьшилось в мире,
Всем везде стало тесно.
Вот и в моей квартире
От давки окошко треснуло.

* * *

Тут играют в деньги
Маленькие детки.
Прыгают от стенки
Звонкие монетки.

* * *

Старушка с куском мыла
Шла, ругаясь, кряхтя и хромая,
И вдруг на полном ходу вскочила
На задний буфер трамвая.

* * *

Лобастыи схватил пупастого
И ну его купоросом красить.
Пупастый вырвался от лобастого
И ну его поленом дубасить.

* * *

Бархан — кочующая гора —
На доме моем ночевала.
Двери закрыла мои до утра,
А после откочевала.

* * *

Далеко-далеко от всяких кроватей,
От подушек и раскладушек
Лежал я на кочке, как на вате,
И слушал пенье лягушек.

* * *

Поймали жидкого и сухого.
Сухого и жидкого закрыли на замок.
Когда проржавели петли засова,
Жидкий высох, сухой размок.

* * *

Обломки стула
Лежат дома.
Отломки стула,
Отстулки лома.

* * *

Пахнет утром, снег хрустит,
От дыханья пар летит.
Снег хрустит, как огурец,
Пар летит, как ряд колец.

* * *

Карлик ростом с сосиску
Полон в огороде редиску.
Карлица ростом с сардельку
Встряхивала постельку.

* * *

Стол стоял на полу,
А стакан стоял на столе,
А столяк стакал на поле,
А голяк стонал на колу.

ИЗ ДВУСТИШИЙ

* * *

Сидоров впал в кручину,
Бросился с кручи в пучину.

* * *

Стою и не верю своим глазам —
Мимо меня прошел я сам.

* * *

На Невском встретил я друга,
Он как бы пахал без плуга.

* * *

По улице ходят люди с угрюмыми лицами,
Очень мало детей и много милиции.

* * *

Раскрылись глаза в глазах —
Весь человек в слезах.

* * *

Сизова была угловатой,
Углы подбивала ватой.

* * *

Костю кузовом задели,
Кости в Косте загудели.

* * *

— Что, если мир раскрутить посильнее?
— Подумай о бабушке, что будет с нею.

* * *

Друг от друга тянули блин.
Блин был кругл, а стал длинн.

* * *

Идем отрядом дисциплинированно,
Будто вся улица заминирована.

* * *

Засмотрелся на ивы плакучие,
Оказался в навозной куче я.

* * *

В давке меня исковеркали,
Будто в кривом зеркале.

* * *

Стреляли тучи, точно танки,
А лопались, как стеклобанки.

* * *

Сверху расширился, снизу сузился.
Шел по проспекту я и конфузился.

* * *

Пойду пожалуйюсь маме,
Что луна зажата двумя домами.

* * *

В крыше у нас брешь,
Хоть прыгай и всех перережь.

* * *

С измятой встали мы постели,
От складок полосы на теле.

* * *

У меня трещали колени,
Как пылающие поленья.

СЦЕНА

— Я Блока люблю.

— А я люблю яблоко...

И в пушки играть люблю.

— А я люблю читать Пушкина.

— Ну и дурак!

— Ах, вот ты как,

Получай же синяк!..

(пауза)

— Пушкина любишь?

— Люблю, люблю,

И Блока люблю больше всех любвей.

Только больше меня не бей!

— А Блока-то ты читал?

— Нет, не читал, но видал,
Кран подъемный его поднимал,
Блок качнулся и в лужу упал.

РИХТОВКА

Ремонтник Боков у оцинкованного станка
Отрабатывал приемы хватки зубила и молотка.

— Эк ты неловко!

Ответь, Боков, в чем заключается рихтовка?

— В растяжении металла.

— Нет, Боков, этого мало.

Даже для такой простой операции,

Как рубка или разметка,

Нужна ловкость и рабочая сметка.

К примеру, берут какие-нибудь деформированные
куски

И зажимают их в тиски.

И если неверно держать молоток и зубило,

В конце месяца не дадут ни денег, ни мыла...

Вот Котов намедни правил ось молотком,

Так не только не выправил,

А вообще смял ее в ком...

Вечером Бокову дали

Искореженные детали.

Боков ударил не прямо, а с перекосом,

Отлетел кусок, кровь пошла носом.

Выправить ось

Не удалось.

А также и остальные детали.

В конце месяца, как и Котову

Ни денег, ни мыла не дали.

ТЕНИ

Мы чай варили на огне —
Густой, как вар, чифир.
Плясали тени на стене,
У них тут свой был пир.

И если кто-то дул в очаг,
— Мы чай варили в каске —
Тряслись, усиливая мрак,
В святого Витта пляске.

Огонь стал ярче, и они
Попрятались в углы.
Когда ж легли мы как могли,
Они под нас легли.

Всех одолел тяжелый сон.
И свет в печи угас.
Сползлись впритык со всех сторон
И придушили нас.

12.10.83.

ТРАВИЛЬЩИЦА

В тяжелом фартуке, в заглушках и очках,
В ударостойких прочных сапогах,
С перчатками из полихлорвинила
Она аккумуляторы травила.
Среди мазутов и кислот активных
Плескалась в щелочах и средах агрессивных,
А после смены туфельки надев,
Была изящнее на Невском прочих дев.

КУБ, ШАР, ЦИЛИНДР

Е.Р.

Жил художник-кубист в комнатухе:

— Куб, шар, цилиндр —

Продал картину, купил бормотухи

Десять литров и еще литр.

Пригласил поэтов, писателей,

— Куб, цилиндр, шар. —

Передрались, уснули приятели,

В комнате вышел пожар.

Утром белые санитары

Выносили за трупом труп.

Все забрали, в углу лишь оставили —

Шар, цилиндр, куб.

16.8.83.

ВЧЕРА

Вчера хороший был денек,

Сегодня плоховатый.

Я на матрац дырявый лег,

Матрац, набитый ватой.

Вчера на этом месте,

Как с грелкой среди льдин,

С тобой лежал я вместе,

А нынче я один.

ШЕКСПИРТ

(сонет 301)

(Виталику Угриновичу)

Закиня ноги гениально,
Она уперлась в потолок.
А я в углу сидел бездарно
Пустой, как скатанный чулок...

Вот так, все таинства на свете
Перелистнула мне она
Теперь я зна... откуда дети,
И мир, и горе, и война.

И наслажденье, и страданье,
Игры любовной волдыри,
Сиянье звезд и мирозданье
Все где-то там в ее нутри.

В какой-то малой спирохете
Весь мир со звездами и дети.

(сонет 302)

Я приглашен на этот пир!
Меня не позабыли Боги.
Я погружаюсь в неги мир,
Торчат из неги только ноги.

Глаза в глаза, к ребру ребро.
Спряглись единой пуповиной.
Я опускаюсь как ведро
В мерцанье звезд на жерди длинной.

Спирали-шестерни миров
Сперали нас, несли и грызли.
— Ворк крови — Ворохи хоров —
— Нарывы ран — и — розы вызор —

Одной утробы близнецы
Срастались мы сосцы в сосцы

ВОЛЧОК

Ездил в Вышний Волочок,
Заводной купил волчок.
Дома, лежа на полу,
Я кручу свою юлу.
Раньше жил один я, воя,
А теперь мы воем двое.

ЛОСКУТЫ

Росли у Глаши-сварщицы
На голове цветы.
А у Маруси-банщицы
Колючие кусты.
Летишь домой от Глаши
в духах и лепестках,
А ползешь от Маши
В кровавых лоскутах.

ВДВИЖКА

КА-НА-ВА-ГОН-КО-БЫЛ
В КИ-НО-НЕ-ДО-МА-МА-
ША-ТА-ЛА-ПУХ-НУЛ Я-
ОТ-О-БЕ-ДА-И КЛИЗ-
МУ-ЧАЛ-КОШ-КУ-СКОМ-
СТЕК-ЛА-МПЫ.

(перевод)

Канавы. Вагон. Гон кобыл.
Был в кино, но не дома.
Мамаша шатала лопух.
Пухнул я от обеда и клизм.
Мучал кошку куском стекла лампы.

ОСЕНЬ В ЛЕТНЕМ

Изящный Аполлон,
Волшебник песнопенья,
В рогожу наряжен,
Стоит как привиденье.

А вот Меркурий ловкий,
(Так вывеска гласит),
Обмотанный веревкой,
Теперь не улетит.

Амур под мешковиной...
И не могла б узнать
Проказливого сына
Сама родная мать.

А где же тут Венера?
— А вон скрипит фанера.

СИЗОВ

Я шел во тьме на зов,
Пришел уже на вопли
В кустах лежал Сизов,
И кровь текла, как сопли.

— Эй, друг, да не ори,
Влезай ко мне на плечи.
Большие фонари
Светили точно свечи.

Я шел, а он икал
И по карманам шарил.
Вдруг за спиной сказал:
— За что меня ударил?

И сразу стал душить;
А ведь душил напрасно.
С таким, как он, дружить
Не скучно, но опасно.

Принес его домой.
Еще он долго злился —
Разбил сервант ногой
А к утру обмочился...

Пошли бутылки сдали —
Друзьями снова стали.

26.1.84.

ВИНТЫ

А. Драбкиной

Я думал, что я великан,
А меня опрокинули и налили в стакан.
Я думал, что в комнате я да ты,
А между нами какие-то рты.

На голове моей крышка,
Как бескозырка у матросика.
Меня подняли
И стали пить прямо из носика.

Тогда я намылился
И стал выскальзывать у всех из рук.
Мало того, что выскальзываю,
Дык еще и глаза проедаю
Как какой-нибудь чеснок или лук.

Прыгнул в песочную кучу,
Сижу, вытряхиваю сандалии.
А подо мной и передо мной,
Около меня и надо мной
Вращаются какие-то детали.

То свинтятся, а то развинтятся зачем-то.
Пригляделся: не просто отломки,
А то, что свинтившись с другим,
Становлюсь третьим чем-то.
Зарябило в глазах от верченья.
Взял одну деталь —
Упругая на изгиб, податливая на крученье.

Что-то мне провизжало
Вроде — неси, или даже пронзи.

Я хотел встать и бежать,
Но сам закружился вокруг своей оси.

Заболела голова.

Вот и ко мне привинтились —

Был я один, теперь два.

Потом три, четыре, пять, шесть, семь...

Потерял счет.

Вдруг все разом распалось,

Но сразу же привинтилось что-то еще.

Но и это отпало.

Остался лишь шрам на коже.

Тут я понял, что надо и мне

Свинтиться с кем-то тоже.

Свинчивался и отвинчивался,

Свинчивался и отвинчивался

Свинчивался и отвинчивался

С кем только мог.

С одним так свинтился,

Что долго потом отвинтиться не мог.

Вдруг пришла мать,

Родные, друзья, учителя.

Я перед самыми их глазами вертелся,

Кричу им — смотрите, да вот же я! —

А они спрашивают, куда я делся?

Мол, отбился от рук, сбежал куда-то,

Совсем не учусь.

А я перед самым их носом

Кручусь,

Кручусь,

Кручусь,

Кручусь.

ВЕЛИКАНЫ

Давид хрупкий и очень хилый
В сравнении с волосатым великаном.
Давид слабый, зато хитрый —
Вложил незаметно в пращу камень.
Раскрутил ремешок и метко кинул —
В лоб попал, лежит ГОЛИАФ,
Рот раскрыл, а ноги раскинул,
Дремучую бороду к небу задрал.

Сел Давид, закрылся руками,
Плачет горько и причитает:
— Почему эти бедные великаны
Всегда от маленьких погибают?!

В КАМЕРЕ

Сидел я в камере-одиночке,
А какая-то девушка сидела выше.
Говорит: — Похлопай себя ладошкой,
Чтобы я тебя слышала.

Она мне спустила на нитке
Локон своих волос.
А я был острижен наголо,
Зато щетиной порос.

Я вылепил ей из хлеба
Человечка мужского,
Она к нему прилепила
Человечка другого.

К его голове я приклеил
Локон ее волос.
Потом нас по разным точкам
Тесный столыпин развез.

А тех человечков с полки
Ночью украла крыса.
Один человечек в локонах
Другой человечек лысый.

СЛЕЗЫ

Горькие, длинные слезы из глаз по щекам на плечи,
Как парафин из свечек,
Каплют,
Пол протыкают.
Соседи внизу визжат —
Слезы мои черепа им насквозь прожигают.

А семечки от яблоков
Решил я закопать.
Не надо будет яблоки
На рынке покупать.

Один человек жил боком,
Другой спиной,
А Сатана представлялся Богом,
А Бог прикидывался Сатаной.

А семечки от яблоков
Решил я растоптать —
Не надо будет яблоки
С веток собирать.

Человек в моей голове поселился,
Двигает мебелью, кашляет и ругается.
Ходит из угла в угол по комнате,
Голова моя из стороны в сторону качается.

Я травлю его спиртом и кодеином,
Выкуриваю гашишем и табаком.
А он опрокидывает на пол ящики с инструментами
И вбивает гвозди в затылок молотком.

Я З Ы К

Между Чистыми Прудами и Садовым кольцом, в переулке, хранящем запах Москвы, какой она была в начале нашего невероятно длинного века, расположен дворец Юсупова, причудливое полувосточное сооружение, в котором творческая фантазия архитектора спорит с безвкусицей взбалмошного заказчика: до времен нашего детства дожила легенда о том, что хозяин дворца проиграл его кому-то в карты. Должно быть, это было уже после того, как князь убил святого старца Распутина. Несколько старых кленов простерли свои ветви над переулком, и все так же расточительная осень устилает желтыми клеенчатыми листьями мостовую, тротуар и лужайку по ту сторону узорной ограды.

Мир ребенка не тесней, а просторнее мира взрослых. Вопреки известной теории, мы живем в сужающейся вселенной. В день паломничества к местам детства, в одно ужасное утро, находишь сморщенный и замшелый город, лабиринт тесных улочек там, где некогда жилось так привольно. Жалкий дворик за чугунной оградой назывался Юсуповским садом. Туда совершался ежедневный поход, там бродили, шурша листьями, ковырялись в земле и прыгали на одной ножке вверх по широкой каменной лестнице, и когда возвращались парами, держась за руки, шествие возглавляла высокая белокурая дама по имени Эрнэ Эдуардовна, обладавшая отличным слухом. Время от времени она оглядывалась, и тот, кто все еще болтал с соседом по-русски, знал, что его ждут неприятности.

В большой комнате у Эрнэ Эдуардовны за круглым

столом пили чай из больших чашек и роняли на скатерть куски бутерброда, рисовали цветными карандашами что кому вздумается и по очереди излагали содержание рисунка на языке, который странным образом не давался только одному мальчику, — это был сын Эрны Эдуардовны. Года через два я пошел в школу, и гулянья в Юсуповском саду прекратились; немецкий язык быстро испарился, осталось легкое дыхание незвонкой гортанной речи; этот язык не был казнью, в отличие от игры на скрипке, мучеником которой я был пять лет, но и со скрипкой было покончено, когда призрак туберкулеза посеял панику в сердцах моих родителей, побудив их сослать меня в лесную школу. Между тем на западе клубились тучи; близость большой войны не была тайной, и все же война разразилась в день, когда ее никто не ждал. На улицах гремела музыка. В первые недели, может быть, в первые дни Эрна Эдуардовна исчезла, пропал без вести и Эрик, самый упорный патриот русского языка среди всех детей группы, ибо он так и не научился немецкому. То, что он был сыном не только тевтонской матери, но и еврейского отца, к этому времени уже умершего все от того же туберкулеза, не спасло Эрика от пожизненного изгнания; много позже из темных слухов узнали, что оба вывезены в Казахстан.

Дела шли все хуже, мой отец, записавшийся добровольцем в народное ополчение, отправился на фронт, где это скороспелое войско вместе с регулярной армией угодило в огромный котел между Вязьмой и Смоленском. Немало времени протекло, прежде чем мы получили известие от отца: он был одним из немногих, кому удалось выйти из окружения.

Мне было четырнадцать лет, и мы жили за тысячу километров от нашего дома, переулка и Юсуповского дворца, когда под влиянием внезапной идеи, не имевшей ничего общего с войной, — притом что фронт уже при-

близился к Сталинграду, — я надумал учить заново немецкий язык, написал письмо в Москву на заочные курсы и получил первое задание. Я ходил в сельскую школу, где тоже учили язык, — не хуже и не лучше, чем во всех школах, — и довольно быстро обогнал своих одноклассников; учитель, литовский еврей, в молодости бывавший в Европе, приглашал меня к себе домой и говорил со мной на священном языке Клопштока и Гете. Ко времени, когда мы вернулись в Москву, я сносно читал по-немецки и мог бы, вероятно, более или менее прилично объясняться, если бы вокруг нашелся хоть один немец. Парень почти моих лет, вернувшийся с фронта и работавший вместе со мной сортировщиком на почтамте, называл меня Генрихом по причине, которую я не могу припомнить. Наступило изумительное время, война кончилась. Никто никогда не поймет, что значили эти слова. В булочных продавцы наклеивали на газетные листы крошечные квадратики хлебных карточек, а букинистические магазины ломались от награбленных книг. Я выпросил у приятеля почитать готического «Фауста», пожухлый томик, изданный в начале века, и с тех пор никогда его не возвращал. С ним я шатался по городу и, засыпая, запихивал его под подушку. В единственной во всем городе маленькой библиотеке иностранной литературы, которую посещали интеллигентные старушки, читательницы французских романов, я взял «Книгу песен» Гейне и вернулся с ней через девять месяцев. Библиотекарша указала на соседнюю комнату, где мне надлежало уплатить астрономический штраф. Я вышел в другую дверь и сбежал, разумеется, вместе с книгой. Осенью я поступил в университет и блеснул перед профессором Радцигом тем, что продекламировал знаменитое начало Пролога на небесах, где говорится о музыке сфер. А ко дню рождения дядя преподнес мне двухтомный «Мир как

воля и представление» в синих переплетях с серебряным тиснением.

Я забыл язык, ибо это была уже не та немецкая речь, на которой мы беспечно болтали за столом у Эрны Эдуардовны и от которой осталось лишь легкое дуновение. Это был не тот язык, что рождается заново с каждым ребенком, когда он начинает говорить, язык, в котором звук и образ, мысль и движения губ невозможно разъединить, потому что они представляют собой изначальное целое, и кажется странным, что вещи могут называться иначе и желание может выразить себя при помощи других фонем. Язык живет нераздельно во всех своих проявлениях, как тело со своими конечностями, язык пронизывает наше существо до той неуловимой границы, где действительность превращается в сон, дневной мир соприкасается с ночным; язык просачивается в бессознательное, и более того, мы вправе сказать, что язык преформирует нашу психику, ибо он существует до своих собственных проявлений, до членораздельной речи, до артикуляции, до мыслиезъявления и рефлексии. Язык — это ровесник души. Или, если угодно, — царственный супруг.

И вот в этот брачный союз, не терпящий посторонних, вторгается соблазнитель, и на ваших глазах, на глазах испуганной и замороженной души происходит что-то вроде дуэли на шпагах, совершается адюльтер. Немецкий язык — или это только кажется? — наделен мужским качеством агрессии и совращения; Дон-Жуан в окружении славянок, достаточно неотесанный, чтобы предварительно получить отпор на западе от Марианны, но тем более удачливый, когда он имеет дело с душой русского языка.

Мужская природа немецкого языка проявляет себя в жесткости его конструкций, в строгом порядке слов, этом наказании для новичка, в архитектурной грамматике,

которая обходится сравнительно небольшим числом исключений и примиряет иностранца с его горькой участью. Мужская напористость этого языка сконцентрирована в его энергоносителях — бесконечно богатых и многообразных частицах, которыми обрастает глагол, но которые могут вести самостоятельное существование, ползать по фразе, становиться наречиями, могут звучать как приказы и заменять целые предложения; ни в одном известном мне языке нет подобного арсенала частиц, с поразительной точностью выражающих направление движения, частиц, как бы оснащающих фразу острием и язык — крыльями. Но этот язык, умеющий быть грозным, язык коротких команд и сгустков энергии, машет крыльями, ползая по земле. Подвиг немецких поэтов, сумевших поднять в воздух эту махину, непостижим. Мужская тяжеловесность немецкого языка проявляет себя в громоздких глагольных формах, в торжественном поезде инфинитивов, следующих, как за локомотивом, после модального глагола или глагола в сослагательном наклонении, мужское тяжелодумие выражается в хитроумном словообразовании, бесконечно расширяющем лексику, в пристрастии к длинным, как макароны, словам, над которыми посмеивался Марк Твен; эта тяжеловесность сказывается и в непоколебимой серьезности его юмора, и в той особой, неподражаемой обстоятельности, которая делает этот язык почти неспособным к эллиптическому построению фразы. Перевод русской речи на немецкий язык напоминает танец легконогой нервной красавицы с неуклюжим полковником, который топчет сапогами и трясет большой головой, в то время как она порхает вокруг него. Пересказанный по-немецки, русский текст удлинится на одну пядь. Мужская дисциплина немецкого языка, столь отличающая его от капризно-текучей женственности русского, требует грубой словесной материи, тяжеловесных языковых масс, чтобы

ворочать ими и умирять их. Наконец, мужской дар абстракции, средневековый реализм, вошедший в плоть языка и растворенный в его лимфе, почти безграничная способность к субстантивации всех языковых элементов, все еще не законченное, все еще продолжающееся сотворение все новых и новых отвлеченных понятий, в котором немецкий язык приглашает участвовать и вас, — так же хорошо известны, как и злоупотребление этими дарами. Нет нужды рапространяться о них.

Но до тех пор, пока вас не окунули с головой в эту вязкую стихию, пока чужой язык не залил ваши легкие, до тех пор, пока он не посягает на ваш ум, вашу душу, ваш пол, ваши сны, ваши обмолвки, — отношение к нему сохраняет музейную благоговейность: так созерцают природный заповедник, который не может грозить стихийным бедствием. Так язык остается заповедным лишь покуда это язык кристаллизованной культуры. По крайней мере таково ощущение человека, знавшего за свою жизнь считанное количество живых носителей языка: тот, кто вырос в наглухо законопаченной стране, только и мог общаться с миром священных надгробий. Настал день, когда я вылез из самолета, увидел немецкие надписи над входом в аэровокзал, — и это было все равно как если бы они были начертаны на древней умершей латыни. Конвейер подтащил к нам три полуразрушенных чемодана, постыдное имущество беглецов, кругом кучки людей переговаривались, не обращая на нас никакого внимания.

Это была *aurea latinitas*, золотая латынь! Или хотя бы серебряная. Это был немецкий язык, иератическая речь, невозможная в быту, недопустимая для профанного употребления, и, однако, она звучала здесь как нечто принадлежащее всем, не имеющее ценности, словно воздух; немецкая речь, которую живая небрежность произ-

ношения, беззаботная фонетика, народный акцент делали почти неузнаваемой.

Итак, планеты выстроились в два ряда, и начало жизни повторилось полвека спустя. В два ряда, взявшись за руки, полагалось шагать за Эрной Эдуардовной, но один мальчик сгинул в Средней Азии, а для другого легкая речь детства стала языком изгнания. Будем откровенны, это надменный язык; и он не признает никаких заслуг. Ветхий старец, учивший меня другому священному языку, — мы сидели в его каморке под крышей старого московского дома, на мне был бархатный берет, опустошенный молью, и он говорил, что запрет читать Тору с непокрытой головой есть всего лишь модернистское нововведение, ему не более тысячи лет, — старец этот рассказывал о неслыханном унижении, которому подвергся его старший брат. Тринадцать поколений их рода подарили своему народу тридцать ученых знатоков Талмуда. На девятом десятке жизни рабби прибыл в Иерусалим, вышел на улицу и задал вопрос босому мальчишке, на что тот презрительно ответствовал: «Дедушка, ты плохо говоришь на иврите!»

Эмиграция начинается, когда мираж небесного Иерусалима исчезает в сутолоке земного Иерусалима, когда сопляк поправляет ваши глагольные формы, когда филология поднимает руки перед жизнью. Эмиграция — это жизнь в стихии другого языка, который обступает тебя со всех сторон, грозит штрафом за незаконный проезд, зовет к телефону, талдычит в светящемся экране, языка, который высовывает язык и смеется над тобой в маске неудобопонятного диалекта, чтобы вдруг, сорвав личину, показать, что это — он, все тот же, чужой и не совсем чужой, свой и не свой; языка, который зовет к себе, в неверные объятия, между тем как родная речь, старая и преданная жена, смотрит на тебя с укоризной и пожимает плечами. Эмиграция, плаванье в

океане, все дальше от берега, так что мало-помалу покрываешься серебристой чешуей, с залитыми водой легкими, с незаметно выросшими жабрами; эмиграция, превращение в земноводное, которое в состоянии еще двигаться по земле, но уже мечтает о том, как бы скорей окунуться в воду...

1991

TOLSTOI-BIBLIOTHEK БИБЛИОТЕКА ТОЛСТОВСКОГО ФОНДА

39 000 книг на русском языке

Художественная литература: русские классики, переводы мировой литературы на русский язык, повести, стихотворения, мемуары, детская литература, современная русская литература. Самиздат.

Научная литература, энциклопедии, литературная периодика и газеты (Россия и западные издания).

По желанию индивидуальная рассылка книг внутри ФРГ.

Рабочее время: вторник, четверг, пятница с 13 до 18 ч. Тел.: (089) 299775.

Thierschstr. 11, 2-й этаж, 8000 München 22.

ХУДО ТУТ

Великий педагог Ян Амос Коменский выступал за отмену розог, за просветительную педагогику и вообще имел дело с опрятными чешскими детьми, смиренными и воспитанными.

Великий педагог Ушинский боролся за прогрессивную педагогику, за полезную школу, и все у него получалось; правда, за партами перед ним сидели тихие, социально-запуганные дети, но, конечно, шалуны.

У великого педагога Макаренко был с собой револьвер, и с его помощью педагог проделывал несложные трюки по доверию. Дети, с которыми имел дело он, считались очень большими озорниками, но не надо забывать про револьвер.

А у нее был только бидон.

Она приносила его на уроки рисования пустым, а уносила — по горло наполненным теплой детской мочой.

Бидон — это цилиндрический предмет, то есть восходная модель для приобретения изначальных навыков по наложению теней. Откуда бы мы и когда бы мы, и где бы мы при свете слева не разглядывали одиноко стоящий на столе бидон — на поверхности его всегда будут чередоваться свет, блик, свет, полутень, тень, рефлекс. Растушаем это в виде вертикальных переходящих друг в друга полос необходимой ширины и на плоском листе бумаги получим подобие выпуклой поверхности, над которой тем же способом изобразим маленький цилиндрок бидонного горла, и останется пририсовать ручку.

Если же мы возьмемся за эту беспомощно согнутую

из толстой проволоки ручку и стащим бидон со стола, и пустим по партам, то обязательно наберем его полный, особенно за счет тех, кто ходит в школьную уборную бояться.

Жаль, что приходится говорить о вещах столь внелитературных и касаться обстоятельств, какими традиционно увлекались смешливые немцы, но ради правды жизни я не могу не упомянуть этих важных, причем каждодневных, верней, каждочасных, а то и каждополучасных дел: дети ведь — кто простыл, кто чаю с сахаринном выпил, верней, только с ним и пьет, кто просто чем-нибудь болеет — детским, нежным и беспомощным, и выхаживать бы его в теплой уютной квартире, этого ребенка, давать бы декокты и подогретое питье, кутать бы в горячие махровые полотенца, отогревать бы в ванне, где под потолком яркий-яркий свет, а мама красивая, а няня добрая, а папа сидит в гостиной и разглядывает свою коллекцию марок, и ждет не дождется, когда беззащитная и немного усталая мама окажется в его пижамных объятиях.

Да, но как удастся стащить с учительского стола бидон, ибо о том, почему некоторые бояться ходить в школьные уборные, разговор будет ниже?

Бидон удастся стащить, потому что учительница рисования в этот момент находится в безвыходном положении. В каком точно — сказать не берусь, уже не помню. Но, кажется, она остолбенело глядит на доску, где собиралась изобразить чередование освещения, а там написано: п е з ы д а М а р ь я И в а н о в н а, или, быть может, хочет поймать руку ученика, который на последней парте колотит и колотит крышкой, да исступленно как! (прошу помнить, что в классе еще сорок мальчиков, и они небезучастные свидетели любого события). А может быть (не может быть! — ужасаетесь вы), повторяю, а может быть, ей метко и увесисто ударила в седой пучок

мокрым комком классная тряпка; ну хорошо — не может быть! — тогда она ищет мел, который был, но которого больше не будет, или просто бегаёт по классу, ловко уворачиваясь от одного мальчугана (остальные сорок, кроме тех, кто наполняют бидон, восторженно шумят, шалуны!), так вот, ловко уворачиваясь, она бегаёт между парт, а за ней бегаёт один мальчуган, совсем почти дитя, а в руке у него умело сжатый двумя пальцами за один из своих концов большой бледно-розовый глист! Думаете, дождевой червяк? Не червяк. Червяки бывают летом, а летом — каникулы; глисты же бывают всегда, вот он и принес его, специально опоздав на урок — у него же глисты идут все время, у озорника.

Почему же она не уйдет из класса со всеми вытекающими педагогическими и административными последствиями? Потому что две парты подъехали к дверям, и к дверям не подойти со всеми вытекающими отсюда садистскими и гельминтологическими последствиями...

...Из темных всех углов под это танго выходят все они и она выходит... девочка тоненькая... выходит и идет навстречу... вызывается это из тьмы из состояния из горлового спазма...

Как же все эти дети попали в школу? Они что — особые? Школа что — особая? Нет — школа обыкновенная, неполная средняя. Дети обыкновенные. Есть среди них даже особоодаренные. Например, я, пишущий эти слова. Согласитесь, что школьника, который когда-нибудь наладится заниматься написанными словами, можно с полным основанием назвать особоодаренным.

А попали все они в школу просто. Зимой приехали на валенках. Весной — приплелись из разных травяных улиц и невероятных захолустий. Некоторые всю дорогу шли босиком, один ловил по пути мух и на потеху приятелям съедал. Другой, придя в класс, сразу же съедал мел, третий вообще в класс не приходил, а шел на само-

летнюю свалку — а туда пойти стоило! — или за жмыхом, и за ним пойти стоило, или еще куда-нибудь — туда тоже стоило.

На валенках же в школу приезжали вот как (кстати, один очень грустный поэт, которого сейчас больше нету, хотел приехать на валенках даже в свое детство, и я его понимаю), на валенках, значит, и не только на валенках — могли быть сапоги, могли быть и коньки, прикрученные к валеночным галошам или сапогам особой деревянной закруткой — сучком в веревке, отчего галоша особо, по-галошному, драпировалась на лобастом и глянцевице своем передке, и на валенках, значит, приезжали, зацепившись крюками за борта редких полуторок и прочих грузовиков. А полуторки эти, хоть и проезжали редко, зато вид их по части техники был очень убедителен. Расходовали они не бензин, а дрова, вернее, березовые или ольховые чурки. Дрова эти загружались в два больших цилиндра (а вы цилиндр в своем воображении нарисовать теперь сумеете), и цилиндры эти высились за ушами кабины от подножек до крыши. Чурки горели, образовывался газ, и на газу этом газовали уже не первенцы, а вторцы или третьцы отечественного автомобилестроения, а вслед, ухватившись за длинную веревку или веревки, привязанные к крюку или крюкам, газовали дети и подростки, и совсем взрослые лбы.

Грузовик долго подстерегался у поворота, и, когда появлялся, с обеих сторон, с обеих снежных обочин выбегали подстерегавшие, и начинало казаться, что грузовик убегает от них, как волк, а они, как собаки, сейчас на нем повиснут.

Так и есть — крючки накинута на борта или на подбортные железки, накидыватели этих длинных, загнутых по концам прутьев толстой железной проволоки суетливо передают веревку кому-то из бегущих сбоку, веревка мгновенно обрастает остальными, и вот уже по

ухабистой, очень ухабистой зальделой дороге, со вмерзшими в нее навозом и клоками сена, в школу или просто в свое удовольствие мчатся дети и подростки, и совсем уже взрослые лбы; кто присел на корточки (это, обычно, задние), и его всего подкидывает на ухабах и ямах, кто присогнул колени, и — поглядите! — как замечательно придуманы человеческие ноги: они все время — вверх-вниз, вверх-вниз — амортизируют в коленных суставах. Сейчас такое можно увидеть только в подвеске высококачественных машин марки «мерседес-бенц», а тогда это запросто делал каждый (а сейчас только — на «мерседесе»), причем запинались на полном ходу о каменный навоз, теряли скольжение на вмерзшем сене, однако ноги, дерганувшись, засеменяв, спасительно раскорячившись, снова складывались и пружинили, как супер-подвеска «мерседеса-бенц»...

...Бенц! Это школьники явились в школу. Во вторую смену. Раз приехали на валенках, значит — зима! Значит, ранние потемки. Бенц! — ударяет один, пересидевший долгие годы на здешних партах, ногой по выключателю. Вдребезги. Это малоупотребительный грубый способ. Не от невоспитанности, а просто от нетерпения, хотя, когда курочат выключатели, директор звереет. Но — бенц! — сегодня истерия почему-то какой не было. И света не будет, и уроков тоже. А надо бы поступить вот как: спокойно вывинтить единственные три лампочки, а затем ввинтить их обратно, предварительно положив в патрон опять же напитанную мочой промокашку. От лампочного тепла промокашка станет медленно сохнуть, свет медленно тухнуть, и в результате, когда промокашка высохнет, он померкнет совсем. И шума не будет, и уроки прекратятся не на один день, потому что такую технологию разгадать очень трудно.

Нет! Все-таки эта школа какая-то особая.

Сказано вам — не особая! Обыкновенная, четырех-

этажная, из красного кирпича, а в вестибюле — в рамке под стеклом — висит письмо, в котором учащихся и педагогов благодарят за сбор ста пятидесяти рублей (пятнадцать по нынешним временам) в фонд обороны, и скромная подпись — И. Сталин.

А в уборных (их две на каждом этаже, одна — для мальчиков, другая — для девочек; но девочек в школе нет, потому что И. Сталину больше нравится обучение раздельное, так что обе теперь для мальчиков), а в уборных лампочки вообще не горят, их даже и в патронах нету, и, значит, там вовсе потемки, только краснеют огоньки чинариков, а жидкость на полу стоит выше подшивающих валенки толстых полос войлока, однако фаянсовые унитазы все целы, зато нет ни одной дергалки. Есть потемки, чинарики, и все чин чинарем.

Входи сюда, нуждающийся безотлагательно войти! Входи, захлопай валенками и ощути бьющие в тебя со стороны тлеющих огоньков горячие струи, и, пока, расковыривая мертвые узлы, управишься с сухой резинкой своих байковых шаровар, ты будешь весь облит, осквернен, поруган. Дергай лучше, что есть сил, резинку, рви ее быстрее да не упусти кончиков, подхвати их, слышишь, управься со своим делом, но кончики не отпускай и бегом назад из веселой уборной, матерящейся и несмываемой даже в памяти, а кончики держи! На уроке, если не вызовут, свяжешь, найдешь время...

...Есть в осени первоначальной... в тиши Останкинских дубрав... дворец пустынный и печальный... а в нем... влюбленный бродит граф... Шереметев... столп с Помонной... и первый в жизни поцелуй... и на скамье той потаенной... начертанное кем-то... «хуй»...

Хуже будет! А то хуже будет! Гляди, хуже будет! Многие многих пугают, многие многим грозят, обещая наказания, издевательства, измывания и огорчения.

— Дай бараночки, а то хуже будет!

- Скотина! Мерзавец! Исключат — хуже будет!
- Выйдешь из школы — хуже будет!
- Не скажешь — хуже будет!
- Скажешь — хуже будет!
- Хуже, сукой буду, будет!

А хуже вроде бы некуда. Взять, скажем, игры и забавы. На протяжении учебного года они прокатываются эпидемиями. Один мор сменяется другим и вполне компенсирует энергичность и выразительность предшествующего. Но неизменно в течение года то вспыхивает, то угасает удалая, уходящая корнями глубоко в историю родимого образования, воистину хватская-залихватская, воистину молодецкая забава!

Вот, скажем, прошел по коридору воевавший еще в Галиции старый солдат и прозвякал в ручной колокольчик. Перемена. Двери классов разлетелись, и коридор наполнился зверством. «Кокын насрал! Кокын насрал!» — вполне по-монгольски орет летящая орава мерзавцев. А это вовсе не по-монгольски, это по-русски, и значит следующее: «Кокын» — прозвище, а что оно значит не знаю; н а с р а л — следует понимать как навонял, испортил воздух. Дело в детском возрасте нехитрое, особенно если глодать жмых, но не подсолнечный, а гороховый, что Кокын и делал, обсасывая горчичного цвета базальтовую плитку и выкусывая из нее каменные с волоконцами крошки, похожие на крупички ископаемой половецкой халвы.

Вот и мчится он теперь по коридору, понимая, что о последует за степным криком «Кокын насрал!»

Традиция — великая вещь, она — основа всего истинно национального, допетровского, родимого, и некоторые выводят сейчас прозвище это от знаменитой загадочной строки, кажется, в «Задонщине» — «Око кынуль къянзь...», в которой — в строчке то есть — одни подозревают ошибку писца, мол, на самом деле должно бы

стоять «ококынѣль кнѣзь», другие же полагают, что это созорничал Василий Львович Пушкин, захав к Пушкину-Мусину смаклеровать за недорого шесть крепостных архитекторов и, трижды шагнув, сыграть в свайку.

Но даже если обвинить писца, то выражение «ококынѣль кнѣзь», то есть «кнѣзь» стал «кокыном», все равно не разъясняет слова «кокын», но это уже неважно. Важно, что оно, словцо это, и было, и есть. А значит, есть традиция, и носитель этой традиции, голодный недоросток Кокын удирает, пока может, но не удерет, хотя он и носитель традиций, а носители традиций бурсацкой игры (берусь доказать это ниже) с криком «Кокын насрал! Кокын насрал!» до-о-огоняют его и... фольклористы, пишите! Диктую вам приговорку старинной потехи:

Драки-драки-дракачи!
Налетели палачи!
Кто на драку не придет,
Тому хуже попадет!
Дуб, орех или пшено —
Выбирай из трех одно!

Четырехстопный хорей, традиционный народный метр. Удобен, кроме прочего, еще и тем, что в сумятице под него легко бить человека, даже маленького. Это сейчас в коридоре и происходит. Но заметьте, как все осмысленно — ведь налицо начатки коллективной ответственности: «Кто на драку не придет, тому хуже попадет!» — и дураков, которые не приходят на драку, нету. Пришли в с е. Но это уже начатки коллективной безответственности, ибо на такую мелкую работу употреблять в с е х глупо, да и к испытываемому кулачным боем не пробьешься, так что коридорное сборище топчется и машет кулаками впустую. Причем — не после драки, что, как известно, нелепость, а во время ее, что

просто головотяпство и дурость. Но тут мы традицию ворошить не будем. За все послепетровское она ответственности не несет.

Давайте лучше внимем в приговорку и обнаружим еще одни начатки. Теперь уже — справедливости. Кстати, как уместно и самородно вводится в игровой стих во многом противоречивое и сложное понятие «палачи»! Но сейчас не про это, а про обнаруженные вторые начатки.

Испытуемый кулачным боем, как известно, н а с р а л, то есть осквернил воздух неуместным и, главное, никому не нужным зловонием, за что и наказуется. Да! Самосуд! Но зато скорый и с п р а в е д л и в ы й, ибо Кокыну предложено решить собственную участь с помощью жребия, то есть выбора. У него есть выбор! «Дуб, орех или пшено — выбирай из трех одно!» Испытуемый знает, что сулит ему этот выбор, знают, конечно, и мучители, но игра есть игра — всякий раз все как бы внове, к тому же выбор — какая-никакая, а пауза в побоях и хоть напрасная, но надежда: все-таки выбор!

В зависимости от ситуации решаешься на что-то единственное.

Проследим все три возможности, четвертая отпала — на драку пришли все, а то Кокын, крикнув: «Вон те на драку не пришли! В Ташкенте отсиживаются!» — сразу бы отвлек от себя внимание, но пришли все, так что рассмотрим три возможных кокынских жребия:

Первый — «дуб!»

— Получай в зуб! — орет орда, и от каждого получаешь в зуб. Если у тебя как раз меняются зубы и какой-то шатается, он вылетает, а вместо него вырастает потом зуб косо сидящий и желтее других. Берусь доказать и показать.

«Пшено!»

— Дело тут не решено! — вопит орава и продолжает: — Драки-драки-дракачи! Налетели палачи! Кто

на драку не придет, тому хуже попадет! Дуб, орех или пшено — выбирай из трех одно!..

И получается, что налицо начатки апелляций и обжалований приговора, то есть как бы подключение инстанций. Если же Кокын крикнет «Орех!» — «На кого грех?» — завопят все, и в этом усматриваем мы начатки открытости и неутомимого гражданского рвения. Никаких тайных доносов! Слово и дело! Открыто покажу на другого; мол, бес, овладевший мной и заставивший смердеть, пусть перейдет на вот этого, а все потом поупражняемся в скором и справедливом судоговорении на нем. Потом — вот на нем, потом на другом ком-нибудь, и все пострадаем, все пострадаем. Насрал о д и н, а пострадаем в с е — идея древняя, соборная и не заемная.

Но это — идея, а Кокыну надо сказать, на кого грех, а ближайшие колошматившие — самые рослые, самые второгодники, и, если указать на кого-то из них, расплата будет сокрушительной, и не то обидно, что заплывет у него от фингала левый глаз, а то обидно, что не осуществится идея поголовного покаяния, по сути своей доброносная, искупительная и великая.

Но Кокын никого подходящего вблизи не видит, да и слезы мешают, и тогда он всхлипывает: «На Розю!» Он инстинктивно находит, этот недомерок и недоносок, виноватого. «На Розю! На Розю! На Розю грех! — вопят все. — Где он? Где Розя! Я знаю! Я! На драку не пришел! Упрятался! На Розю!» — вопит коридор...

А Розя и вправду упрятался. Когда свирепствует вспышка вышеописанной и нижеописанной забавы, Розя отсиживается в шкафу с картами или под задней какой-нибудь партией, ибо отлично знает, что грех все равно будет на него. И это тоже древняя, давняя традиция. Корневая, истинная и уж точно допетровская.

Когда выклянчивание бараночек, выдаваемых каждому в количестве одной штуки в день, не имеет смысла,

потому что бараночек не завезли, или холодно очень, или темно, или почему-то всем страшно, или у всех жуть на душе — так бывало — (то есть осуществляется трансцендентальное пророчество «хуже будет»), тогда описанная забава пресуществляется в свою фольклорную мутацию. Но тут я требую от фольклористов и всех заинтересованных в отечественной культуре оказаться на высоте сообщения, каковое сейчас воспоследует.

А именно — прошу не пользоваться ручками автоматическими, ручками шариковыми и карандашами тож; это всё — наследие ассамблей и проклятого Лефорта. Будем писать или киноварью с голубцом, или процарапывать. Или-или. Причем не на бумаге. Можно на пергаменте, по левкасу можно, а у кого нет — на бересте.

Готовы?

Отматываем пленку назад. Нет, пленка тоже не годится! Хорошо. Доверяем Кокыну снова засмердеть, он с этим справится. Чуете, справился? Накидываемся на него и орем. Записывайте же! Процарапывайте же! Это же оригинальный бурсацкий текст, сейчас докажу:

Чичира-чичира
Тебя мать учила —
Не срать,
Не пердеть!
Олово или медь?

Сразу бросается в глаза милое сердцу «мать учила», и встает картина: изба, тихая крестьянка-мать, а может, и богомольная раскольница-боярыня во имя благорастворения воздуха учат свое чадо «не срать, не пердеть». Простые женщины, неспешный уклад, древнее матернее начало. А то, представляете, тот же Илья Муромец, сиднем сидевший на печи тридцать три года, не учи его мать, сколько бы он насрал и напердел?

— Олово! — твякает Кокын.

— Три колотухи в голову! — решают второгодники и все остальные. Ужас.

— Медь! — говорит Кокын.

— Начинаем снова чичиреть! — складно сообщают ему второгодники и все остальные. И по новой бьют... Чичира-чичира, тебя мать учила!.. Ужас.

Заметили? — третий выбор — передоверение греха, отсутствует. Нету идеи коллективного покаяния. Соборное братство в страдании — исчезло. Старинный текст обнаруживает н о в ы е недобрые свойства. Чуждые влияния. Но в чем дело?

Дело в «чичира-чичира». Это латынь. Ц и ц е р о или ч и ч е р о — горох. А горох (в случае с Кокыном — гороховый жмых) отродясь пучил живот, и человек, объевшийся гороху, ведет себя так, словно гороху объелся. Латынь! И почему бы, скажем, не придумать по-русски: «Горох-горох, кто насрал, того и бздёх!»? Так нет же — латынь! Латынщики-попы. Запад. «Римская блядь» — как говаривал протопоп Аввакум. Значит — бурса. Текст аналогичен приводимому Помяловским и уж сто лет ему точно есть. Вот как заигрался народ в удалую игру, а она уже вон когда была с червоточиной. И пошли от этого бурсацкие зверства, пусть с отголосками добра («тебя мать учила»), но уже не с мягким приговором, а с двумя безвыходностями вместо трех послаблений: все-таки «олово — три колотухи в голову» и «дуб — полчай в зуб» — вещи разные. Голова, хотя и шут с ней, все же необходима думу думати, а без зубов можно размачивать жмых слюнями... «Медь — начинаем снова чичиреть» (с нерусским корнем глагол-то!) и «пшено — дело тут не решено» тоже сравнение не в пользу первой дефиниции. А отсутствие общедоступной возможности переложить грех на Розю говорит уже о коварных происках известного кого. И это умение подладиться! — мол, тебя мать учила...

...Из темных всех углов выходят они... и она выходит... девочка тоненькая... я приду — говорит она... куда... ну к статуе... за музеем... к какой... которая как в кофточке... и мы краснеем... остальные получаются без кофточек... краснеем и даже слезы... и горло перехватывает... вызывается все это из тьмы... из состояния... из размытого молкнувшего отголоска...

«Драки-дракачи» сменяются заразой маленьких напалечных рогаток, ничего общего не имеющих с толстыми квадратными резинами, кожаным камнеприемником и сучочной рогулькой нормальной рогатки. Напалечные — компактны, просты в изготовлении, легко маскируемы, менее заметны в применении и, хотя недальнобойны — в птицу не попадешь, но на коротком расстоянии, если пулька металлическая, то есть согнута из гвоздика или медной, алюминиевой или железной проволоки, наносят удары страшные. Попади такая в глаз, можно гарантировать, что глаз пропал, поэтому страшными пулками пользуются нечасто и почти всегда бьют сзади.

Чаще в рогаточку — тоненькую резиночку, вытянутую из бельевой резинки, — вкладывается скатанный из бумаги и согнутый пополам столбик. Хороший удар такой пульки тоже вышибает слезы, а при прямом попадании в глаз в большинстве случаев тоже лишает глазевшего человека глаза. Но я ни одного такого случая не помню и думаю, что все остались с глазами, благодаря мастерству стрелков.

— Сесть я сказала! Се-есть! На парты! Скоты, не на парты! За парты! Отдай, Евменцев! Евменцев, отдай журнал! Скотина, гадина, идиотина, отдашь ты или нет? Нет, я не-е-е могу! Ну не могу! А-о-ой! Кто стрелял? Мерзавцы! Мее-аав-цы! Аа-а!!! Что это? Что вы подложили? Ну что вы подложили? Сало? Почему сало? Почему этот грязный кусок сала? Что это значит? Что это

значит отдай ты мне журнал Евменцев! Нет, вы меня не затравите! Ай-й! Больно же! Нет, я вам не Марья Ивановна... Это вам не рисование! Это вам... Не-е-ет! Меня не затравишь! На! На! На! Журналом тебя скотину, идиотину, гадину! Ста-рос-та-а-а! Он!.. он!.. он меня ударил в грудь! Мать! Мать! Мать приведешь в следующий раз! В следующий раз мать приведешь... Слышишь, бандит, слышишь, идиотина! Приведешь, понял!

— Понял! Хер тебе, а не мать! — отвечает ученик пятого класса Стенюшкин своей учительнице по истории древнего мира, Марье Павловне, и даже не уворачивается, потому что кусок хмурого сала, по-женски неумело брошенный в него ополоумевшей учительницей, пролетает мимо.

Тут за дверью брякает звонком инвалид и кончается урок, на котором можно было бы прочитать вслух, скажем, вот что: «Ксенофонт же сказал: Я слышал, что у вас в войске есть родосцы, а из них, как говорят, многие владеют пращей, и снаряд их летит вдвое дальше, чем у персидских пращников. Те пользуются камнями величиной с кулак и потому мечут недалеко, а родосцы умеют бросать и свинцовые слитки...»

И кажется мне сейчас, что результатом чтения стало бы куда более меткое метание сала или же отказ от салометания вообще... Что же касается использования дополнительного материала, то Марья Павловна из-за звонка просто не успела задать его по книге Сталин, Киров, Жданов (имеется в виду тот самый Сталин, письмо которого висит в школьном вестибюле).

Кстати, о Евменцеве. Он вообще — Юмянов. Правильная его фамилия — Юмянов. Но он почему-то откликается и на Евменцев. Нет, это не фамилия его отца, не фамилия его матери. Прозвание Евменцев вообще не имеет к нему отношения. И всё же четыре первых класса Юмянов проучился под фамилией Евменцев.

Просто в первую в его жизни переключку первая в его жизни учительница выкликнула — Евменцев! И, наверно, поглядела на него, поскольку был уже конец списка и только он ни на что пока не откликнулся. Когда же на него взяли и поглядели, он и сказал — я! Скорей всего было неразборчиво или неверно записано. Учительница даже подправила что-то в журнале, а он, решив, как решает, оказавшись у новых владельцев, собака, что теперь надо отзываться на новый окрик, под вопрошающим взглядом и откликнулся.

А может быть, в самый торжественный день своей жизни, когда он в первый раз пришел в первый класс (приходил он в него еще и во второй раз, на следующий год), он просто не знал своей фамилии или вообще не знал, что на свете существуют фамилии, то есть был ужасно наивен, как, скажем, был наивен другой мальчик, всех уверявший в первом классе (слушатели тоже были наивны), что, раз у матери Климова (очень пикантная была женщина) двое детей, значит, она е б а л а с ь (заметьте, какая наивная еще форма глагола — вместо «-лась», «-алась»!) в своей жизни уже два раза. Утверждал он это упорно, хотя спал вместе со своей матерью на казенном топчане в четырехметровой комнате при совхозе «Марфино» и всякий вечер бывал рад приходу на широкий топчан дяди Вити, и очень хорошо умел объяснить практические приемы соития быстрого и затянувшегося, и многократного. Увы, детская наивность все же мешала собственный опыт переосмыслить в закономерность, отсюда и домыслы насчет мамы Климова.

Сам же Климов по этому делу достоверными сведениями не располагал и утверждений марфинского заморыша не мог ни подтвердить, ни опровергнуть...

...Из темных всех углов выходят они... и она тоже... карманные круглые взятые из дому часы показывают два часа ее промедления... она идет небыстро... на березовом

дворе ветеринарной лечебницы тихонько ржет больная лошадь... и не касаясь... в метре друг от друга... мы идем откидывая камешки... вызывается это все из травы... из лета... из где-то увиденной тихой лошади... из камешков которые давно не откидываются...

Учительница рисования уходит в почтальонши. Лишенная женского рельефа, с бесплодным и обмякшим лицом старой революционерки, с комком пористого носа, с неодинаково свисающей по бедрам юбкой, в нитяной, болтающейся во все стороны лежалой кофте, она таскает суму с чужим общением и появляется иногда у калитки, чтобы когда-нибудь не появиться никогда...

— Вышел, ребята, месяц... Из тумана! Вынул ножик, ребята, из кармана. Буду резать. Буду, ребята, бить. Все равно тебе водить! — говорит он, войдя впервые в класс, и неожиданно указывает на одного из вставших столбом возле своей парты ребят.

— Я уже дежурил!

— Хрен мне в твоём дежурстве! Тебе — водить! Ходи к доске!

— Во — изумляется кто-то из ребят — дает!

— Всем давать, не успеешь вставать! — говорит учитель геометрии. — Поэтому предлагаю сидеть. Причем тихо. Буду резать. Буду бить...

— У ты, мать твою ебить! — тихо, но слаженно, не разжимая губ, вторят несколько голосов.

— Та-а-ак! А ведь я, ребята, из бывших беспризорников, типа произведений «Республика ШКИД» и «Педагогическая поэма». Поэтому... — говорит учитель и между рядов подходит к тому, к кому надо, берет того, кого надо, за нос, зажимает между своими указательным и средним пальцами тому, кому надо, нос, причем видно, что зажимает не слабо, и, как бы забыв про стиснутого, начинает прохаживаться и между рядов, и перед рядами, а стиснутый прохаживается тоже на пределе боли.

Вырваться он не вырывается, понимая, что, если повываешься, будет больней. К тому же — авторитет учителя. А так, пока терпимо, он и ходит вперед головой, а новый учитель рассказывает себе по свободным пространствам пола, а все внимательно наблюдают, а тот, кому водить, стоит у доски с деревянным треугольником и мелом.

— Ну!

— Восстанавливаем перпендикуляр! — раздается бредовое предложение у доски стоящего.

— К чему? К животу? — балаганит учитель. — Как его зовут, ребята? — обращается он к увлеченному событиями классу, которому не ясно, что намерен педагог совершить рукой левой, ибо правая еще не отпустила нос того, кого надо.

— Осип! — хором орет увлеченный класс.

— Ты, Осип, чудись. Понял?

— Понял...

— Отчего кот хвост поднял! — к радости ребяток заключает педагог-беспризорник. — Садись. Будешь неуспевающим. А тебя как звать?

— Тутудашеф... — гундосит на зажатых ноздрях стиснутый.

— Татарин?

— Дет. Гордый шодец...

— Это ты врешь! Нации своей стесняться не смей. Сходи, умой рыло, шорец...

Геометрией увлеклись самозабвенно. Выучили всё, что возможно, постигли магический смысл ее непреложных повелений и гордых доказательств, а все затем, чтобы в течение жизни начисто забыть постигнутое. Таскание же человека за нос с тех пор стало осуществляться всеми, кто мог себе это позволить, по отношению к тем, кто не мог себе этого позволить. Правда, последним в течение жизни удалось в общем-то забыть и это, но на

отрезке времени под названием «детство» казалось им, что унижительная эта беспомощность есть самое большое горе, и они возмещали его счастьем ущемления носа у вовсе слабых, вовсе беспомощных, то есть у тех, по отношению к кому могли себе это позволить...

Дорога в школу идет через стенд. Стенд — это пять отдельно стоящих деревянных трибун, похожих на пагоды, а вокруг — странный пейзаж: бесконечный розоватого цвета пустырь, колорит которого определяют невысокие бесчисленные кучи розовой щебенки и грунта, добываемых метростроевцами в кембрийских глубинах московской земли и свозимых сюда годами.

На стенде стрелки-охотники сажают из двустволок по внезапно вылетающим из-под земли смоляным тарелочкам и влет разбивают их. Судит соревнования этих меткачей Василий Сталин, сын того самого, который прислал известное нам письмо, а до письма придумал раздельно обучать мальчиков и девочек. Насчет девочек не знаю, но мальчиков — всяким гнусностям. Нас, однако, стенд сейчас не так чтобы интересует, хотя пальба в косо и вдруг вылетающие невесть откуда тарелочки, разносимые выстрелом вдребезги, словно небольшая птичка с хохолком от большого заряда, была сама по себе очень даже притягательна.

Но ни выстрелы, ни пальба, ни взрывы не могли отвлечь бредущих в школу подростков от наваждения главного и нестерпимого. Однако сперва все-таки о пальбе.

...Рядом с той школой была самолетная свалка, а на свалке было все, что хочешь. Вероятно, это была свалка вообще всякого военного снаряжения, а возможно, и в самом деле только самолетная; таскали оттуда невероятные множества нужнейших и всегда занимательных вещей. Фасонный алюминий, проводки, защитного цвета заклепки, защелки, вовсе безродные детали — и все

хитроумно приспособлялось для всяческих коварств, проделок, мучительств и милых проказ типа следующей.

Говорят, это были клапаны от моторов. Размером и видом с небольшую полуторакилограммовую гантель, они имели не пухлую и небрежно отлитую гантельную перемычку, а ровненькую, точеную. По концам — вместо гантельных шаров — располагались как бы небольшие тарелочки шлифованными плоскостями наружу, точь-в-точь тарелки вагонных буферов. Дело это распиливалось, а внутри стальной оболочки оказывался металлический натрий. И в тарелочках, и в перемычке.

Металлический натрий — субстанция мягкая, вязкости сильно загустевшего белого меда. Он выковыривался чем-нибудь железным, и добытые кусочки можно было бросить, допустим, в чернильницу, где натрий начинал бегать-бегать, бегать-бегать и, потихоньку раскаляясь, вовсе самоуничтожался. Чернила — тоже. Однако, если в конце раскаливания по нему чем-нибудь стучали — скажем, гвоздем, причем даже слегка, — он сумбурно, неожиданно, во все стороны, разбрызгивался страшными маленькими каплями, невероятно горячими и прожигающими одежду вместе с кожей тела.

Это были простейшие опыты по окислению нестойкого металла в воздухе или в жидкости, а вот если распиленную гантельку положить в унитаз, в ту часть его, где маленьким колодцем стоит вода, точнее, погрузить гантельку в эту самую воду, то можно спокойно уходить на урок, что все и делают, включая тех, кто в продолжение школьного дня из уборной не выходит, изображая — для домашних, — что школу посещают, а для учителей, — что плевать на нее хотели.

Они, значит, тоже уходят. Причем — тоже на уроки, где, зверея от того, что нельзя покурить, затевают какую-нибудь мерзость типа обесцвечивания чернил карбидом. При этом из чернильниц, куда положен карбид,

начинают ползти пенные бороды, а в воздухе устаивается такая сероводородная вонь, что хоть начинай ч и ч и р е т ь самое атмосферу, а чернила превращаются в почти бесцветную жидкость и хуже держатся на пере, особенно на 86-м, так что на страницы тетрадок ложатся едва зримые тени великих слов великого языка — типа «есть в осени первоначальной...», но эту строку мы уже приводили выше.

Еще могут пришедшие на урок залечь под задние парты, предварительно расстелив для уюта физическую или политическую карту нашей Родины. Лучше — политическую, так как реки, горы и долины физической, если ты не Князь Тьмы, делают лежание неудобным и жестким; а политическая похожа на лоскутное одеяло, которое есть, можно сказать, в каждом доме, в домах же у лежащих — подавно, поэтому лежишь, как будто из дому не уходил.

Лежат лежащие тихо, причем только у тех учителей, которые в междурядья удаляться не решаются. Спокойно, значит, лежа, лежащие мучают и терзают сидящих, тоже в общем-то ученичков не смирных — задние ведь парты! — настригают им на частые полоски мокрые снизу от сортира и тяжелые брючины, тихо поджигают зажигалками, что ни попало, а сидящие тушат, терпят, елозят, попискивают, но лежащих не выдают, ибо...

...Ба-бах-бах-бах! Ба-бах-бах-бах! Это взрывы настоящие. И по звуку, и по силе. Это рванул в водяных колодцах трех оставшихся на весь этаж унитазов мягкий, как загустевший мед, металл натрий. Все двери в коридор распахиваются! Все вываливают в коридор! Скакание тяжелозвонкое и вопли звонкие. Учителя, те, которые догадываются в чем дело, идут пятнами от ярости. Которые не догадываются — бледнеют от испуга. Радость, фестиваль, клики, осколки унитазов и — а-а-а! — больше ни одного фаянсового стульчака на этаже не

осталось. И на складе нету. И в природе не существует. Может быть, к следующему учебному году их расстараятся достать и поставить, но ведь и самолетная свалка никуда не денется, так что не пропадем.

Пока повсюду неразбериха и кишмякишение, лежавшие под партами готовятся к возвращению тех, кто выскочили в коридор. Они, просунув ножку стула в дверную ручку, быстро запираются и начинают мстить за что-то несчастному недоноску и недоростку Кондрашке.

Вот он уже раздет догола. Вот уже измазан бледными чернильными помоями. Все это купно с имевшейся на его теле натуральной грязью делает Кондрашку, и так не сопротивляющегося, совсем жалким и болезненным. Его так жаль, что лучше даже запереть его в шкаф, откуда были изъяты карты для лежания. Места хватит, хотя шкаф и неглубок, но Кондрашка ведь маленький — вот он там целиком и помещается.

А его изукрашиватели и обнажители начинают возбужденно бегать по партам — у них же от лежания все просто одеревенело! Дверь заперта стулом. В коридоре переживается и расследуется событие — там свой бедлам. А тут — свой, и мчащиеся друг за другом по партам идиотины не принимают во внимание, что в коридоре все классы разошлись в свои классы, и только один класс войти в свой класс не может, потому что в дверной ручке — стул. Но в двери есть круглое отверстие от кем-то и когда-то выломанного английского замка, и учительница в дырку заглядывает. Однако видит она только мелькающие фигуры бегающих в истерике идиотин, а чтобы учительница их не распознала, те, кто толпится в коридоре, напихивают на нее друг друга, и она у глазка сосредоточиться не может, и идет за завучем, а ученики заглядывают в дырку и шепчут: «За завучем пошла», но бегающие гулко бегают и, пробегая мимо дырки, либо суют в нее на бегу ручки перьями наружу, либо прицель-

но харкают, так что, когда к дырке прикладывает глаз прямая седая и строгая завуч, делает она это зря, потому что в глаз ей харкают. Без промаха и обильно. В коридоре возникает тишина. В классе тоже. Завуч, ведомая под руку учительницей, идет отмываться. Из второго глаза ее, как у амазонки, текут слезы, потому что есть такая — только мне известная легенда, что амазонки, выжигавшие себе для удобства пускания стрел на полном скаку одну грудь, по-бабьи плакали не тем глазом, который приходился над выжженной для ратных дел грудью, а другим — вторым.

Вот и завуч идет, точа слезы не тем глазом, в который ей харкнули, а тем, который в класс не заглядывал, а пока что коридорные идиотины потихоньку дают уйти классным гадинам; те разбегаются в свои каторжные норы, а коридорные идиотины расслаживаются по партам и, когда в класс возвращается учительница уже с директором, сидят тихо. Никто и предположить не может, что в шкафу, сложенный, как в утробе, свернулся нагой недоносок: пока была беготня, он сидел тихо, чтобы не привлекать внимания и без того уже много уделивших ему внимания товарищей. Теперь же, когда установилось безмолвие, он возьми и заворочайся, дурачок, идиотик; ну тут учительница с директором — к шкафу, ну думают, ну поймали ну этих, которые в завуча! а ну выходи, мерзавцы! а оттуда голый лиловатый Кондрашка прыг-скок — а-аа-аа! — а весь класс — га-а-аа! — а Кондрашка, голенький, маленький, лиловенький, синенький, бегом-бегом, а за ним училка — журналом его, журналом, а он, маленький, изворотливый — между парт, по партам от нее, а все ему — подножки и тоже лупят, хотя он, гад, изворотливый, никак по нему не попадешь — маленький же ростом и шириной, но, конечно, по яйцам ему разок все же дали, по маленьким. Как-никак — пятиклассники. Изловчились...

...Из темных всех углов под это танго выходят все они... и она выходит... я не могла прийти... но ведь он же шел с тобой... никто со мной не шел не выдумывай... я на велосипеде ехал видел... не надо за мной следить... возникает это все из такого сожаления... такой безвозвратности... такой растерянности...

...Влачась через стенд, мы отвлеклись на пальбу, ибо на стенде палили из двустволок по тарелочкам. А на подступах к стенду или где-то неподалеку были невероятные заросли каких-то полудеревьев — то ли боярышника, то ли калины. В их узловатых кронах, в листьях их резных, не таких, конечно, совершенных, как листья клена или смоковницы, а в небольших, словно бы неумелой деревенской рукой резанных под безупречный кленовый, фиговый или дубовый шедевр, фигурных листьях, в мельтешне этих листьев стояли плотные и потные девушки — девки из каких-то неизвестно зачем существовавших в окрестности, уму непостижимых сельскохозяйственных ферм, и собирали непонятно зачем то ли боярышник, то ли калину.

Старинная история. Бабье лето. Жарко еще, прозрачно и ягоды. И девки. Девки с фермы. И стоишь внизу, а она одной ногой на одном суке, а другой ногой на другом суке, а ты стоишь внизу, как раз где надо, и голову задрал, а там, во мгlistых потемках, розовых от просвечивающей юбки, такое сложное зрелище, составленное из мягких ляжек, байковых трусов, заплат не заплат, перетяжек от резинок, перевязок от подвязок — это сейчас можно все предположить, а тогда — все неразлично, неопределимо, перемешано — может, рубашка все перемешала, может, она даже в истлевшие трусы засунута и по бокам ляжек торчит бязевыми косынками... Не знаю. Не помню. Не могу рассказать. А девка поджимает ногу к ноге, уйди, бесстыдник, а ты говоришь — а я к тебе вот залезу, а ты попробуй только, еще мал и глуп

и не видал больших залуп, ты видала что ли вот и залезу а с ветки свалишься с сука навернешься а не свалюся барсук повесил яйца на сук видишь видишь не свалился да я тебя сейчас а ну убери руки спихну сейчас... И кофты у них битком набитые; а вся женская их выжженная байковая знойная одежда полна мягкостью и мяготью, и постоишь так рядом на суке, и тебе, может, перепадет что, поприкасаешься, и во всех кронах идет возня на шатких сучьях и ветках, и горячие девки, чувствуя себя в безопасности, позволяют пацанам вроде бы многое, но особенно тоже не даются, и хохочут вслед съехавшим по стволам и отдавившим на твердых желваках коры желваки своих налитых ядер, не говоря уж про ободранные об кору после самого мягкого на свете ладони, и заливаются вдогонку идущим во вторую смену в школу, и кричат: «Завтра приходите лапаться, токо у матки спроситесь!..»

...— Я больше не могу, это даже не изверги!

— Нет плохих учеников, есть плохие педагоги!

— Знаете, я бы в них, как в немцев — из гранаты!

— Неплохо сказано — из гранаты...

— А ведь мы с вами, товарищи, призваны, я подчеркиваю, призваны воспитать учеников в духе...

— Нет, это уже не люди!

— А Макаренко? Ему было ку-у-уда трудней!

— Нет, я не могу! Я вхожу в класс и уже плачу! И, знаете, они... мне больно делают...

— И это бесстыдство!

— Сталин, Киров, Жданов в своей известной работе...

— Я понимаю — дореволюционная педагогика плоха! Но раньше были розги!

— Розги лечат мозги...

— Не могу, не могу, не могу! Вот сейчас кончится перемена... не могу, не пойду, дайте закурить... не могу,

не настаивайте, я вам даже намекнуть не берусь, что они хотели, чтобы я увидела...

— Га-аа-а... Увидели, не умерли же... Ладно, звонок! Пошли...

— Не могу, не хочу, не буду!..

— Слушайте, перестаньте рыдать, вы же, как вы говорите, не институтка! Еще в учительской истерик не хватало! Возьмите себя...

Слышится подавленный всхлип. Кто-то пьет спасительную воду.

...Существует такое повальное весеннее увлечение — «отмеряла». В наших местах употреблялось три способа перепрыгивания через человека. Самый старинный, почтенный и веселый — чехарда. Забава почти чеховская. Папа, мама, мальчики в гольфах, гости в чесучовых костюмах ловко скачут друг через друга по дорожке, ведущей из вишневого, скажем, сада к вешним, скажем, водам. Или к расстеленной на траве скатерти. Скачут и дурачатся. Луг. Пчелы гудят. Бабочки болтаются в воздухе. Всё в пыльце. Улыбка на лице. Барышня в чепце. Слезинка на конце... ресницы. От смеха! От счастливого смеха...

Такова чехарда. Однако в другом пейзаже она бессмысленна — упрешься не в вешние воды, а в забор или, если на школьном дворе играть, в угольную кучу. И откуда — барышни, чепцы, вдовцы, отцы и дети? Нету этого ничего. Характер игры пропадает. А если так, чего тогда говорить?

Вторая разновидность перепрыгивания — «козел». В этом случае кто-то, согнувшись и уперев руки в колени, встает к остальным боком: он «водит» и вправо, стоя высоко, подкидывать перепрыгивающих, каковые, касаясь его спины руками, проделывают разные обязательные сложности. «Баранки козлу» — это утыкают в склоненного кулаки, «вилки козлу» — это растопырен-

ные пальцы, «пришпорить козла» — стукнуть его в прыжке каблуком по заду. Или ниже зада, что больнее. Но тогда можно и другой ногой по голове, хотя в таком случае может возникнуть свара: «козел» запротестует, приятность развлечения нарушится и можно самому стать «козлом». Поэтому главное — чистота выполнения. Есть еще «ложки козлу», есть фигура «огулять козла» — она полупристойная, и, надо думать, учительница физкультуры Валентина Кирилловна, совсем молоденькая женщина, поэтому в «козла» не играет, хотя не в пример чинной чехарде «козел» — игра демократическая, общедоступная и легко осуществимая, как на школьном дворе, так и на близлежащих тротуарах. Возможное же в ней мелкое изуверство столь незначительно, что сродни, скажем, случайному попаданию гуттаперчевым мячиком, пущенным Соней в Наташу Ростову, хотя в их время гуттаперчевых мячиков не было, и сказал я это к примеру.

Играть в «козла» Валентине Кирилловне в общем-то интересно. Небольшая боль от «баранок» или «вилок» или даже удар каблуком ниже зада, когда она высоко задирает обтянутый шароварами круп, ее вполне устраивает, чтобы не сказать будоражит, хотя никто об этом не догадывается, тем более ученики. Такого даже они, будучи хоть и непотребными, но и нетребовательными детьми природы, еще не постигли. А вот фигура «огулять козла» и для нее, и для прыгающих невыразимо желательна. Однако урок физкультуры есть урок физкультуры, и Валентина Кирилловна педагогично, хотя и в ущерб себе (почему в ущерб, узнаем; через пару страниц возникнет компенсация) соглашается после разминок, приседов и вольных движений поиграть в отмерялу.

А это уже забава действительно спортивная! Самая что ни на есть спортивная, потому что, если играть умело и честно, развиваются прыжок и волевые качества. Тут

выигрывает, то есть почти не водит, то есть не дает через себя перепрыгнуть, сильнейший.

Прыгают на этот раз с черты и тоже через по жребию согнувшегося — но задом к прыгателям — человека. Когда все перепрыгнут, тот, кто согнулся, перемещается вперед, туда, куда поставил ногу последний прыгающий. Затем все прыгают снова. Однако, в зависимости от того, насколько далеко оказался от черты водящий, оговаривается условие перепрыгивания: или — разбежавшись — прямо с черты (прыжок «без одного»), или, произведя после черты один шаг (прыжок «с одним»), два шага («с двумя»), три («с тремя»), но до такого обычно не доходит.

Допустим, кто-то настаивает, что огромное расстояние, образовавшееся между чертой и согнутым водящим, взять «без одного», сиганув с черты, невозможно. Это шанс для водящего перестать водить. Он предлагает маловеру согнуться вместо себя и «доказывает», что прыгнуть возможно, и всем вменяется прыгать «без одного». Тот же, кто сомневался, либо тоже героически «берет», либо в последний момент опасно тормозит, испугавшись снести с лица земли водящего и самому побиться. Или разгоняется сломя голову, отталкивается и всей своей массой восьмиклассника врывается в бесстрашный зад водящего, если, потеряв высоту, не застревает на согнутом и сам не обрекает себя водить, то есть встает, согнувшись, на черту. И все повторяется известным уже образом.

Надо сказать, что прыжок, когда он на пределе — то есть, когда от последнего толчка, будь то с черты или с дополнительного шага, между тобой и водящим огромное непреодолимое расстояние, — выглядит вполне атлетически. Замечательно толкнувшись, подросток, почти юноша, летит, вытянув свои уже почти мужские руки, и кажется — толчка не хватит, не дотянутся руки до

согбенной цели, но они дотягиваются, плотно ударяют ладонями по приготовившейся к худшему спине, пружинистый удар помогает довзметнуть уже терявшее полет тяжкое твое тело, руки на заячий манер оказываются меж циркулем раскинутых ног, и через мгновение ты опускаешься на мигом сомкнувшиеся собственные свои стопы, которые, между прочим, уже сорок второго размера.

Почти все время водит Валентина Кирилловна, задорная и свойская, ибо ей, хотя она, выткнув подъем и безупречно втягивая колени, замечательно, словно через коня в зале, прыгает через водящего, все же нелегко бывает «доказать» экстремальные расстояния «без одного» или «с одним», так что она великодушно и долго водит.

А прыгающие — сама галантность. Они чинно толпятся в очереди на разбег, красиво отталкиваются, узкой округлой спинки касаются деликатно, ни в коем случае не хлопая по ней обеими мужскими ладонями, и последний, на чей след предстоит продвинуться Валентине Кирилловне, старается сигануть умеренно, чтобы Валентина Кирилловна продвинулась недалеко, что исключит спорную ситуацию, когда придется совершать страшные огромные прыжки. Иначе говоря, он старается подольше сохранить одолимую ситуацию «без одного», а потом, далеко пролетев задрывшую навстречу свой круп маленькую женщину, создать безусловную ситуацию «с одним»

А она между тем спорных моментов ждет и желает, а он не знает. Деликатно стучающие ладони ей приятны, но еще приятней, когда (она ждет этого всем своим ожиданием) на нее летит масса уже юноши, уже мужчины, и волей-неволей, чтобы не врезаться, масса эта — на мгновение — там, где лифчик (лифчик однажды даже лопнул по шовчику, но никто этого не заметил), когтит

ей растопыренными пятернями спину, обрушивается всей тяжестью, и тяжесть эта, эта тяжесть, ну неповторимая тяжесть эта, утяжеленная инерцией, вминается в безошибочно и взаимно выпружиненную навстречу спине, чтобы, оторвавшись, тут же встать на мощные ноги и оставить позади в напрасном теперь поклоне согнувшуюся ее.

И, что ни говори, в этом весь мужчина. Летит на тебя из ниоткуда, громадный, тяжелый, в страшном полете простирая руки, накладывает на тебя эти огромные руки, чтобы вмяться, обрушиться — на миг, на всю жизнь, на секунду, на раз, на домотдыховские две недели — не поймешь на сколько, а ты только и можешь, что напрячься навстречу, но всегда безошибочно взаимно, и он расплющит, раздавит тебя, и непререкаемо опустит затем, где захочет, спокойные свои сорок второго размера стопы, чтобы неспешно и с достоинством вернуться к отмеряльному старту и занять свое место в очереди других мужчин...

Вот почему всякий раз даже при галантных прикосновениях вежливо ведущих себя и негогочущих восьмиклассников Валентина Кирилловна тихо постанывает, и тут... и тут, наконец, возникает спорная ситуация, когда взять «с одним» ну совсем немыслимо, а самому первому, кто в очереди, прямо уже юноше, почти мужчине, это предстоит, хотя он и вправе требовать, чтобы Валентина Кирилловна «доказала». Однако такое неудобно, тем более что свойская Валентина Кирилловна задорным и звонким голосом кричит: «Нет, с одним! Спорим, с одним! Вперед, мальчоныш, как в атаку, как папа сейчас!». А покричав не своим голосом, расставляет покрепче ноги, втягивает по-спортивному колени, сгибается и, нагнувшись, поглядывает через бок на разбег первого в очереди. С топотом десантника мчится тот к черте, идеально точно попадает на нее толчковой ногой, делает

огромный шаг в воздухе, опять точно ставит стопу для решающего толчка... Толкается! Она теперь не смотрит, она опускает голову, она выпячивает обмирающую спину. Господи! Ну! Она чувствует, как он летит, огромный и тяжелый, чтобы вмяться всем собой, и она поступает нечестно (а он бы «с одним» взял!), тихонечко охнув, незам-м-метно на миллим-м-метр приподымает спину, и огромные ладони, ожидавшие обрести упор для завершения прыжка, сладко и б-больно не достигают, куда следовало, и огромный вес летящего мужского организма не обрушивается, чтобы перелететь, а ударяется брючным своим передом в маленький напрягшийся, чтобы не разлететься вдребезги, обомлевший от женского ужаса задранный зад учительницы...

— Огулял!— возбужденно орут третьеклассники из окна четвертого этажа, а поскольку пять лет до восьмого класса, когда тоже можно будет огулять Валентину Кирилловну, третьеклассникам терпеть неохота, они от вожделения выбрасывают из окна четвертого этажа большую парту.

Сконфуженный случившимся, удрученный своей неудачей, сбивший с ног дружелюбную учительницу, подросток поспешно сгибается водить, но тут проходит инвалид с колокольчиком и урок на воздухе кончается.

А мальчики, учтиво толпясь, проводят, конечно, Валентину Кирилловну домой, и она будет идти и знать, что желанное ожидание не только не прошло, а наоборот как-то совсем не пропадает, и она торопится домой, дабы поставить пластиночку, взять книжечку, но потом как то сумбурно и быстренько ее отложить и наконец-ц-ц доиграть в дворовые наши игры-ы-ы-ы...

Книжечка, кстати, называется «Вешние воды»...

...Из темных всех углов выходят все они ... и она выходит... девочка тоненькая... вызывается это все из

молчания... из состояния... из дневного светлого воздуха... из полуслезы...

...Этот мальчик, ученик второго класса, ленив еще такой детской ленью, когда лень даже ничего не делать, и, если ты дома, не хочется даже делать то, что хочется делать, и он, хотя каждый вечер и вспоминает, но почему-то не кладет в портфель чернильницу, ведь в школе чернил нет, а если появляются, то тут же оскверняются карбидом.

Мальчик он маленький, но ему уже знакомо то, что останется потом на всю жизнь — везенье наживать или друзей, или врагов, а третьему не бывать.

Зачем он забывает принести чернила? Зачем обрекает себя на отчаянье и унижение — сейчас понять трудно. Это, вероятно, что-то из детских странностей, тем более что у него есть химический карандаш и ничего не стоит сделать из грифеля неплохие чернила с настоящими ржавыми разводами на их лоснящейся черной лужице. А может быть, все происходит потому, что зима и война, в комнате по вечерам горит коптилка и холодно, и ничего не хочется делать, и задали три столбика, и мало еды, и, в общем, вялость. Сумма детских этих вялостей, вероятно, и создает в школе страшную энергию, всегда жестокую и разрушительную, но зато недолгую — потому что от слабосилья и вялости результаты всегда хочется видеть быстрее.

Ну зачем он забывает чернила? Ведь — диктант, и Александра Димитриевна к нему совершенно безжалостна. Сейчас, обдумав все как следует, я берусь это утверждать.

Диктант. Дурацкий какой-то диктант. Уже и на улице посерело, и хорошо видна тетрадка в три косых. Чистая. Где их доставали, теперь понять невозможно. «Савраска увяз в половине сугроба...» Сав-рас-ка у-в-яз а ты почему не пишешь? Я чернила забыл — бормочет

мальчик — в по-ло-ви-не суг-ро-ба... так и не будешь писать?.. я чернила забыл.. что же мне с тобой делать? — вопрошают седые букли плоской старой стервы... что мне с тобой делать, забывчивый мальчик, срываешь всем работу, да?..—можно макнуть?..— две па-ры про-мерз-лых... промерзлых — это когда что-то простывает, за-леденеваает насквозь... знаем-знаем!.. можно макнуть у кого-нибудь, Александра Дмитриевна?.. значит, ты и не начал писать?.. лап-тей... ну-ну, макни, если получится..

«Если получится» весь класс понимает безошибочно. Кстати, чернил не принесли многие, но они или уже одолжились в свои чернильницы и пузырьки у других, или сели с теми, или впереди тех, у кого чернила есть.

...Ну макни, если получится!..

— Макар, дай макнуть?

— Сам носи!

...лап-тей... и у-гол ро-го-жей...

— Дерюг, дай макнуть?

— Да? — говорит отличник Дерюгин, выводя в этот момент с прилежанием и нажимом — «рагожей»...

— Дерюг, ошибка. Надо «рогожей»!

— Александра Дмитриевна, чего он мешается! Подсказывает еще!

...в последний раз тебе сказано, приступай к диктанту! по-кры-то-го гро.. — говорит учительница, повернувшись лицом к доске и направляясь к ней из между-рядья, то есть как бы не замечая панического уже нищенства за своей спиной, ибо мальчик все дальше и дальше отходит от парты, но, получая всюду отказ, всякий раз шмыгает назад...

— Прохор, дай макнуть? Я тебе бараночки дам...

Надо сказать, что за баранку можно выменять все. Например, настоящий золотой дукат на чинарик настоящей папирсы «Дукат» или, скажем, латвийский

фантик «Лайма» на почти годный ржавый военный наган.

— Прохор, я тебе бараночки дам...

— Сколько?

— Одну...

— Пойдешь ко дну!

— Ну две...

— Утопнешь в говне!

Всё. Междурядье, в котором можно ходить макать, ибо это в общем-то разрешается, исчерпано. Ходить же макать в обход по классу — в общем-то никем из учителей не разрешается. Если близко — макнул и сел обратно, а так...

...пишешь ты или не пишешь? я же сказала: макни... а ты и макнуть, значит ленишься... всё вам, видите ли, в руки давай... что с ним будем делать, мальчики, раз он диктант нам срывает? выгоним его? а? — говорит с седыми прядками над нашими тетрадками учительница первая моя.

— Да-а-а! — радостно кричат все хором, под шумок хором же переделывая слово р о г о ж а под отличника Дерюгина — р а г о ж а.

Мальчик сидит, склонив голову над тетрадкой в три косых, в руке у него неувлажненная в отличие от его огорченных глаз ручка с пером «рондо», на которое, кстати, то есть некстати, всегда уходит много чернил, но у него есть еще только «гусиная лапка», а «гусиной лапкой» разрешают писать с пятого класса, а он пока — во втором, и вот, по глупости, по собственной детской беспечности, сидит он среди макающего класса, и всем все разрешают макать, а ему — не разрешают, а его шантажирует — но он-то не понимает этого — высокая седая учительница, потому что она его ненавидит.

— Н-на! — рывкает учительница и с отвращением толкает ему на парту свою непроливайку, да так резко,

что из непроливайки — из непроливайки! — выскакивает несколько изумленных таким случаем капель, радостно сплющиваясь о чистый лист его тетрадки...

— Только я специально для тебя повторять не буду! — победно говорит она. — Так что двойку свою ты все равно у меня получишь!

Нет. Не получит. Он знает это стихотворение наизусть, а проблемы безударных гласных — этого неизбежного заповедного кошмара одной шестой части суши для него вообще не существует. И он торопится, промокнув веселые кляксы и не успевая промокать капающие слезы, догнать своих товарищей, с большинством из которых ему проучиться до школьного конца.

...ста-ру-ха... в... боль-ших ру-кави-цах... это варешки такие... знаем-знаем!.. со-сульки у ней на рес-ни-цах запятая и тире... вы этого не проходили... с мо-ро-зу должно по-ла-гать...

Не помню уже, когда я увидел впервые эту странную птицу, то ли тогда, в детстве, то ли недавно, то ли на картине видел, то ли она все время летала по этому рассказу? Но вроде бы не летала... Называется птица — угод. Со стоячим хохолком, когда сидит, с прижатым — когда летит. Красивая. Редко прилетающая. А раз редко прилетающая и красивая, значит, в детстве я ее видел. Когда же еще, если не в детстве? И прилетала она, и кричала, как полагается удодам, своим нехорошим криком: «Худо тут! Худо тут!» Прилетела неизвестно откуда, села и кричит:

«Худо тут! Худо тут!»... Нет, все-таки не могу сказать — то ли тогда, то ли сейчас. Но, в общем, кричит. Скорей, тогда... Худо тут!.. Худо тут!..

Чего ж худого? Детство. Школа. Отрочество.

Будь же оно проклято, это детство, будь она проклята, эта школа... Или, лучше сказать: детство-детство,

будь ты проклято. Школа-школа, будь проклята и ты. Будьте прокляты все вы, зачем-то ставшие учителями, будьте прокляты вы, зачем-то ставшие учениками, будь проклят и я, и я, наконец! Но только не она... та девочка... которая нет-нет и появится из закоулочного сквозняка... из полуслезы... из светлого лета...

Потому что дело ее — все равно гиблое.

1980

КУБОН И ЗАГНЕР

МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ (МЮНХЕН)

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ**

КНИГИ

по литературоведению и языкознанию
по истории Восточной Европы
по общегуманитарным дисциплинам

*Справки о новых изданиях
Широкий выбор книг на складе
Антиквариат*

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

*подписка
издания прошлых лет
газетный и журнальный антиквариат*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОТТО ЗАГНЕР» —

VERLAG OTTO SAGNER

*Научные труды
— по славистике
— по истории культуры
Восточной и Юго-Восточной Европы*

Kubon & Sagner

BÜCHEREXPORT — IMPORT GMBH

HeBstraBe 39/41
Postfach 340108
D-8000 MÜNCHEN 34
telefon: (089) 54 218-0
fax: (089) 54 218-218

